



ИЗ ИСТОРИИ ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

А. В. Мангилёва*

«Шесть лет в Крутогорской семинарии»: Воспоминания «Крутогорца» (Ивана Андреевича Ардашева)¹

Воспоминания, озаглавленные «Шесть лет в Крутогорской семинарии», анонимны. Имя их автора, преподавателя Уфимской Духовной семинарии Ивана Андреевича Ардашева, предположительно восстанавливается по надписи на приложенном к документу конверте: «Ардашев Иван Андреевич (псевдоним «Крутогорец») — преподаватель Духовной семинарии (г. Уфа)². Шесть лет в Крутогорской семинарии (воспоминания). Рукопись. Б/д». Автор тщательно скрыл истинное название места своей учебы. Тем не менее упоминание о расположении здания семинарии «в специально построенных корпусах на архиерейской даче» позволяет отнести события, описанные «Крутогорцем», к Вятской Духовной семинарии, с 1795 г. находившейся именно в таком месте³. По словам «Крутогорца», он поступил в семинарию в 80-х гг. XIX в. и проучился в ней 6 лет. Более точных указаний на время происходящих событий в дневнике нет. Ситуации, описываемые в воспоминаниях, соответствуют периоду «контрреформ» Александра III и обер-прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева. Сочинение вряд ли написано ранее 1902 г., когда Ардашев окончил Казанскую Духовную академию и был удостоен «степени кандидата богословия с правом преподавания в семинарии и с правом получения степени магистра без нового устного испытания»⁴. В 1907 или 1908 г. Ардашев стал инспектором Уфимской Духовной семинарии⁵ и оставался им по меньшей мере до 1913 г. В Центральном государственном историческом архиве Республики Башкортостан, в фонде Уфимской Духовной семинарии⁶ хранятся дела о представлении к награде инспектора семинарии И. Ардашева (1912 г.)⁷ и о награждении его орденом св. Анны 3-й степени (1913 г.)⁸, а также Указ Святейшего Синода о разрешении инспектору

* © Мангилёва А. В., 2009

Анна Владимировна Мангилева, кандидат исторических наук, доцент кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета (Екатеринбург). Публикация подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 07-01-83102 а/У.

семинарии И. Ардашеву преподавать «противомусульманскую полемику» (1913 г.)⁹.

Единая система российских духовных учебных заведений с общими программами и централизованным управлением была создана в 1808–1814 гг. Территория Российской империи делилась на 4 духовно-учебных округа, возглавлявшихся духовными академиями — Петербургской, Московской, Казанской и Киевской. Академии были не только учебными заведениями, дававшими высшее образование, но и административными центрами, решавшими большинство вопросов, связанных с работой духовных школ на территории своего округа. В каждом епархиальном центре существовала семинария, ученики которой получали среднее образование и в большинстве своем становились священнослужителями, лучшие направлялись в академию того округа, к которому принадлежала семинария, и становились преподавателями. В описываемый «Крутогорцем» период семинария жила по уставу 1884 г., который в сравнении с уставом 1867 г. значительно расширил полномочия архиерея в вопросах духовного образования в епархии. Архиерею поручалось наблюдать за направлением преподавания, воспитанием учащихся и следить за исполнением устава¹⁰ (в воспоминаниях «Крутогорца» описывается характерный случай исключения ученика за переписку с бывшим ректором, причем говорится о невозможности противостоять «безконтрольно-властному союзу инспектора с архиереем»). Ректора и инспектора семинарии назначал Синод, при этом при обер-прокуроре К. П. Победоносцеве ректоры не могли оставаться на одном месте более 3 лет, что препятствовало налаживанию отношений между руководящим и ученическим составами семинарии¹¹.

Все должности в семинариях и училищах еще со времени введения устава 1867 г. были доступны и представителям белого духовенства. «Крутогорец» указывает на духовный сан только ректоров и троих из четырех инспекторов (и среди инспекторов только один монах, тогда как прежде это также считалось обязательным). Тем не менее большинство преподавателей предпочитали оставаться мирянами, что объясняется только глубоко укоренившейся традицией. Содержание преподавателей и управленческого аппарата брала на себя казна, остальные расходы покрывались из епархиальных средств. За счет дополнительных средств семинарии открывали параллельные классы. Срок обучения составлял 6 лет. Программа семинарий была соотнесена с программой гимназий, и после окончания 4-го класса семинарист мог перейти в светскую школу.

Общежитие, где жили семинаристы, называлось бурсой. Денег на содержание бурсаков выделялось мало, поэтому многие выпускники духовных школ вспоминали тяжелые условия жизни в бурсе. Особенно распространены были такие представления после выхода в свет «Очерков бурсы» Н. Г. Помяловского¹². Сам Помяловский, окончивший Петербургскую Духовную академию, подчеркнул, что он описывает жизнь только казеннокоштных бурсаков. Более объективным и благожелательным подходом к теме отличаются мемуарные очерки Д. Н. Мамина-Сибиряка¹³, хотя и у него побудительным мотивом для работы стало желание описать уродливые стороны жизни

духовной школы. Причины порочного поведения учеников духовных школ большинство авторов (в том числе Помяловский и Мамин-Сибиряк) видели не только в недостаточном финансировании системы духовного образования, но и в отрыве изучаемых предметов от реальной жизни, в засилье мертвых языков, в зубрежке, в отсутствии педагогических способностей у большинства преподавателей, в жесткой регламентации жизни учеников. Затронутая Помяловским тема вызвала большой общественный резонанс, и во многих публикациях говорилось о том, что пороки бурсы присущи всей системе духовных школ. Описания нищеты, воровства, азартных игр и пьянства, царивших в среде не только бурсаков, но и учеников, чье содержание оплачивали родители, стало общим местом русской публицистики 2-й половины XIX — начала XX в. Это было одной из причин, по которой Святейший Синод предпринимал постоянные действия по реформированию духовной школы.

Если сравнить воспоминания семинаристов с рассказами выпускников других учебных заведений, становится очевидным, что ученики гимназий и военных училищ также нередко нелицеприятно отзывались о системе обучения и преподавателях своих школ. Жизнь кадетов в описании А. И. Куприна поразительным образом напоминает быт бурсаков Помяловского. Причина сходства здесь — обостренное восприятие подростками отрыва от семьи, перехода в закрытое учебное заведение, где царствуют не столько методы педагогики, сколько та же подростковая «стадная» психология. В семинарию попадали в возрасте 12–14 лет. Именно на время обучения приходился период взросления, неизбежно связанный с критической переоценкой окружающей действительности. Те из выпускников, кто затем попадали в духовные академии, могли к тому же сравнивать условия жизни и учебы в семинарии с академическими (по всеобщему признанию, неизмеримо лучшими)¹⁴.

Основной интерес в воспоминаниях «Крутогорца» представляют описания быта семинарского общежития, характерные для 2-й половины XIX в.¹⁵, а также сведения об участии семинаристов в общественной жизни своего времени¹⁶. Еще «Духовный регламент» стремился оградить учеников духовной школы от внешних воздействий: в первые годы обучения запрещались даже поездки к родным, был ограничен круг развлечений в свободное время¹⁷. Большинство рекомендаций «Духовного регламента» в XIX в. было отвергнуто, но нарастание охранительных тенденций в государственной политике приводило ко все большей замкнутости духовной школы. Наиболее ярко это проявилось в 1840-х гг., когда из семинарского курса было почти полностью исключено преподавание философии (под предлогом опасности для сознания учеников новых философских учений)¹⁸. Это изменение семинарской программы, предложенное светскими властями, вызвало сопротивление ряда высших церковных иерархов, считавших, что именно изучение философии, анализ новых учений с точки зрения Церкви поможет преодолеть эту потенциальную опасность, тогда как полное умолчание лишь усугубит ее. Это предостережение не было услышано, количество запрещенных для семинаристов научных, публицистических и художественных книг увеличивалось

и приводило вовсе не к «стойкости убеждений», а к тому, что интерес к этой литературе среди учащихся возрастал.

В годы обучения «Крутогорца» в семинарии начальство особенно строго боролось с запрещенной литературой (как неожиданная черта в поведении заведующего библиотекой Костромина упоминается выдача им наиболее способным ученикам современных книг и разговоры с ними о литературе; большое место в воспоминаниях занимает рассказ о создании семинаристами собственной библиотеки и о мерах, предпринимавшихся руководством семинарии для розыска запрещенных книг). В воспоминаниях бывших семинаристов рассказывается о том, что чтение запрещенных книг производило настоящий переворот в сознании¹⁹. Новые идеи воспринимались на веру, без критического осмысления, и одна книга была способна перевернуть жизнь. Неспособность к логическому анализу превращала человека в фанатика новой идеи либо в столь же фанатичного ее ниспровергателя, выпускники духовной школы впоследствии зачастую пополняли ряды радикальных партий как левого, так и правого толка. И хотя «Крутогорец» признает «незрелость» умов своих одноклассников, сам он не может скрыть все еще кипящего в нем восторга неопита, приобщившегося к запретному знанию.

В этой связи показательна ситуация, сложившаяся в Пермской Духовной семинарии в 1850–1860-х гг. Она схожа с описанной «Крутогорцем». В Пермской семинарии действовал нелегальный кружок, в состав которого входили как семинаристы, так и преподаватели. «Нити заговора» вели в частную библиотеку, открытую выпускником семинарии А. И. Иконниковым. Александр Иванович Иконников родился в Ирбите в семье священника, в 1850 г. окончил Пермскую Духовную семинарию, затем Казанскую Духовную академию и в 1855 г. был назначен преподавателем в Пермскую семинарию, но перешел на светскую службу и стал чиновником для особых поручений при Пермском губернаторе. Открыв библиотеку, он начал собирать в ней и нелегальные издания, доступ к которым имели лишь избранные. В число тех, кому доверял содержатель библиотеки, естественно, попали преподаватели семинарии А. Г. Воскресенский и А. Н. Моригеровский, а также другие лица, связанные с семинарией. С конца 1860 г. кружок семинаристов стал устраивать тайные собрания, на которых читались запрещенные издания из библиотеки Иконникова, в семинарии была создана своя нелегальная библиотека, начал издаваться рукописный журнал «Семинарский звонок». В середине февраля 1861 г. была предпринята попытка широкого распространения на Урале прокламации «Послание старца Кондратия», которая переписывалась от руки семинаристами. В апреле по доносу кружок был раскрыт полицией. Иконников был сослан в г. Березов Тобольской губернии, магистр богословия А. Моригеровский — в Архангельскую губернию, семинаристы исключены из семинарии и высланы из Перми²⁰. Тем не менее повышенный интерес семинаристов к запрещенной литературе и в дальнейшем приводил их в ряды оппозиционных организаций.

Воспоминания «Крутогорца» носят критический характер. Вероятно, они и составлялись как публицистическое произведение, направленное на исправ-

ление недостатков духовного образования. Тем не менее из сочинения видно, что в семинарских стенах собирались не только бурсаки, думающие лишь об алкоголе, хулиганских выходках и о возможности устроиться на выгодном месте, но и способные, мыслящие молодые люди, которых семинария снабжала запасом знаний, достаточным для дальнейшей учебы в высших учебных заведениях. Сам характер отдельных нарушений — чтение запрещенных книг, тайная постановка спектаклей — свидетельствует о живых умственных запросах и исканиях семинаристов и заставляет относиться критически к резким высказываниям «Крутогорца».

Воспоминания построены по хронологическому принципу. Возможно, автор пользовался дневниковыми записями. Наиболее ранний период его семинарской жизни описан как череда мелких бытовых событий, детских проказ и мелкого хулиганства. По мере взросления семинаристов у них появлялись новые интеллектуальные и духовные интересы. Публикуемый текст важен не только как исторический источник, но и как памятник, отразивший становление человеческой личности.

Рукопись переписана набело, аккуратным почерком. В тексте 1-й главы встречаются многочисленные поправки, в основном касающиеся стиля. Поправка выполнена карандашом поверх готового текста и, возможно, принадлежит автору. Работа над стилем воспоминаний не была доведена до конца; если бы текст читал и правил посторонний читатель, такое вряд ли бы произошло, так что данный факт также можно рассматривать как косвенное свидетельство в пользу авторской правки. Отсылались ли куда-либо эти мемуары для печати, неизвестно, во всяком случае, опубликованы они не были. При подготовке рукописи к публикации орфография и пунктуация подлинника были приведены в соответствие с современными требованиями. Явные опiski, где это было возможно, исправлены, пропущенные буквы и слова вставлены в текст в квадратных скобках. Без изменений оставлены некоторые характерные особенности авторской лексики («семинар» — вместо «семинарист», «архирей» — вместо «архиерей»). Сокращены обширные описания подросткового пьянства. Все сокращения отмечены в примечаниях, составленных публикатором.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Государственный архив Свердловской области, ф. 101, оп. 3, ед. хр. 121.
- ² Слова «преподаватель духовной семинарии (г. Уфа)» зачеркнуты.
- ³ *Дудин А., священник, Шихов С. А.* Вятская и Слободская епархия // Православная энциклопедия. Т. 10. М., 2005. С. 154.
- ⁴ <http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/kazda.html>
- ⁵ В 1906–1907 гг. инспектором семинарии был иеромонах Серафим (Лукьянов), а в 1908 г. инспектором значится уже Иван Андреевич Ардашев (http://www.orthorus.ru/cgi-bin/or_file.cgi?7_2994); Справочная книга по г. Уфе на 1908 год. Уфа, 1908. С. 178.
- ⁶ Опись фонда размещена на сайте: <http://ufagen.ru/fund/6088>

- ⁷ Центральный государственный исторический архив Республики Башкортостан, ф. 112, оп. 1, д. 97.
- ⁸ Там же, д. 122.
- ⁹ Там же, д. 112.
- ¹⁰ Полное собрание законов Российской империи. Собрание (1 марта 1881–1913). Т. 4. СПб.; Пг., 1885–1916. № 2401, 2060.
- ¹¹ Смолич И. К. История Русской Церкви (1700–1917). Ч. 1. М., 1996. С. 471.
- ¹² Помяловский Н. Г. Очерки бурсы. Свердловск, 1988.
- ¹³ Мамин-Сибиряк Д. Н. Из далекого прошлого // Мамин-Сибиряк Д. Н. Повести. Рассказы. Очерки. М., 1975. С. 387–513.
- ¹⁴ См., например: Тарасова В. А. Высшая духовная школа в России в конце XIX — начале XX века: История императорских православных духовных академий. М., 2005. С. 265–274.
- ¹⁵ См. также: Помяловский Н. Г. Указ. соч.; Никитин И. С. Дневник семинариста. М., 1955; Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. М., 1994; Ю. Г. Из воспоминаний о духовной школе 70-х гг. Киев, 1902; Грязнов Е. Из школьных воспоминаний бывшего семинариста Вологодской семинарии // Вологда в воспоминаниях и путевых записках, конец XVIII — начало XX века. Вологда, 1997. С. 151–179; Воспоминания Евгения Андреевича Елховского (1869–1937), священника женского Свято-Николаевского монастыря г. Переяславль-Залесского // Страницы истории России в летописи одного рода: Автобиографические записки поколений русских священников (1814–1937). М., 2004. С. 129–367.
- ¹⁶ Смолич И. К. Указ. соч. С. 470.
- ¹⁷ Духовный регламент. Часть вторая: Дела, управлению сему подлежащие. Раздел: Дома училищные и в них учителя и ученики, також и церковные проповедники (Духовный регламент. М., 1802. С. 59–85).
- ¹⁸ Смолич И. К. Указ. соч. С. 428.
- ¹⁹ Тарасова В. А. Указ. соч. С. 277–278.
- ²⁰ Архивный фонд краеведческого отдела Пермской областной библиотеки имени А. М. Горького, ф. 6, оп. 2, д. 6, л. 76; История Урала в период капитализма. М., 1990. С. 168–171.



Шесть лет в Крутогорской семинарии

(Л. 1) Глава первая

Местоположение семинарии. Первые впечатления. «Цивилизация и цивилизаторы». Столовая. «Вертеп». «Отстукиванья». Табакуры-«плюсователи». Картежники. Голодуха. Пьянство. Охрана пьяных. Несчастные спектакли. Литературные вечера. «Изгнания» и причины их. История с захваченной перепиской. Начало падений. Наша религиозность. Кощунственные выходки.

За окраиной Крутогорска, вблизи столичного тракта, белеют в садах здания, похожие издали на фабрику. Это и есть Крутогорская семинария, в которой протекли шесть лет моей учебной жизни. «Вдали от шума городского» появилась она, по свидетельству местной истории, не по педагогическим, а по экономическим соображениям. В давнюю пору здесь был архиерейский загородный дом, его и приспособили для учебных целей, когда по епархиям Руси (Л. 2) местные архиереи стали заводить духовные школы, или попросту бурсы. Семинария разрасталась, и около первоначального помещения с течением времени выросли три громадных корпуса и несколько небольших особняков. Кругом семинарского двора — долина небольшой речушки, покрытая по местам лесом и кустарниками. Около семинарии речонка сдержана плотиной и образует небольшой илистый прудок, в котором водились лини и щуки. Лесок, долина и пруд напоминают семинаристам родные сельские места и издавна служили и служат для них местом отдыха от казенной казарменной обстановки.

В мае и июне, во время «учебной страды» с раннего утра и до позднего вечера вокруг семинарии можно видеть характерные фигуры семинаристов, то подзубривающих науки, то играющих в мяч и городки, то в лодках на пруде или с удочкой на берегу. Словом, приволье и большой простор доставляло летом крутогорскому семинару местоположение его alma mater. А зимой для конькобежцев расчищался пруд, около него устраивались ледяные горы для любителей такого рода удовольствий. Зато зима доставляла



и немало неприят (Л. 3) ностей питомцу семинарии. В трескучие морозы, когда на городских каланчах вывешивались флаги, отменяющие занятия в городских учебных заведениях, семинарист был совершенно отрезан от города. Смелчаки, решавшиеся в подобные дни пускаться в ^адальнюю прогулку в казенных тулупах «на рыбьем меху», отмораживали пальцы, возвращались с вздутыми щеками и носами и т. п.

По количеству учащихся Крутогорская семинария всегда была многолюдна, так как ученики собирались в нее ^бчуть ли не из десятка^б училищ, существовавших в епархии. Но были годы, когда количество их значительно понижалось. Это были годы массовых «выгонок» из семинарии по поводу каких-либо внутренних, часто неважных с общечеловеческой точки зрения обстоятельств. Помню, к 15 августа 188... года^в мы с родителем приехали из отдаленного уголка епархии в губернский город. О семинарии я имел смутные представления. Знал лишь, что из нее выходят священники, можно по окончании ее учиться и дальше. Но это заманчивое «дальше» не имело еще для меня никакого определенного содержания. Видал я и учителей семинарских: они являлись в духовное училище^г в качестве ревизоров и, конечно, производили на нас, малышей, (Л. 4) импонирующее впечатление. Преобладающим чувством к новому учебному заведению, а особенно к жизни в общезжитии, был у меня какой-то безотчетный страх. Вероятно потому, что и ^гродитель-то мой^г не мог мне рассказать толком, что такое семинария, так как в своем образовании не доходил до нее.

На другой день по приезде мы^а двинулись за город. Еще издали забелели среди садов семинарские корпуса. Сердце мое^е еще более упало, хотя внешнее спокойствие я старался сохранить, всячески подавляя свое унылое настроение. Прошагав неспеша прямую, как стрела, версту семинарской дороги, мы подошли к главному корпусу, в котором в ожидании молебна собрались семинаристы. У входа в церковь стоял представитель инспекции. [С] суровым видом он осмотрел меня с ног до головы и указал дорогу в храм. Робкими шагами я вошел ^жв церковь^ж и присоединился к первому попавшемуся ряду семинаристов. Без речей и какой бы то ни было торжественности был отслужен молебен. Мое внимание невольно было обращено на громогласное, фигуральное многолетие семинарского хора, который долго-долго выкрикивал то дискантами, то басами: «Лета! лета!». После молебна новичков принимал инспектор^д, невысокого роста, худощавый, с бегающими (Л. 5) пронизывающими глазами и малой растительностью на голове, протоиерей. Уже по глазам его было видно, что это человек, от которого трудно что-либо скрыть даже семинаристу, по условиям жизни в общезжитии весьма опытному «в надува-

^{а а} Написано над строкой, вместо зачеркнутого: город.

^{б б} Написано над строкой, вместо зачеркнутого: из нескольких.

^в Так в рукописи, год не указан у автора.

^{г г} Написано над строкой, вместо зачеркнутого: отец-то.

^д Далее зачеркнуто: с ним.

^е Слово написано над строкой.

^{ж ж} Слова написаны над строкой.

тельстве» начальства. Но потом оказалось, что и у этого, на первый взгляд, всеведущего старика были недостатки, которыми^а превосходно пользовались ученики.

В семинарии строго преследовалось чтение так называемых запрещенных, т. е. не вошедших в скудный каталог семинарской ученической библиотеки, книг. А таких было, конечно, значительно больше половины всей русской литературы, почти вся критика и публицистика и т. д. Особенно почему-то не пользовались расположением этого инспектора писатели-народники. Бывало, ученик сидит за книжкой Гл. Успенского или Златовратского. Внезапно появляется инспектор и с вопросом: «Что читаете?» подлетает к парте. Находчивый ученик встает, смело поднимает книгу под самый нос инспектора и спокойно отвечает: (Л. 6) «Пособие для такого-то сочинения, такого-то автора». Инспектор, конечно, не подозревает такого решительного надувательства и удовлетворяется ответом.

В зале, куда мы собрались в ожидании начальства, инспектор произвел нам «переключку», некоторым сделал замечания насчет костюма и прически (длинные волосы, по его взглядам, были признаком «нигилиста»), сказал несколько слов о семинарских порядках, выдал каждому по экземпляру «правил^б поведения» и велел переселяться из города в общежитие, кто еще этого не сделал. После обеда, уже на лошади, с небольшим^в имуществом^г мы^д подъехали^е к корпусу^ж, где были помещения для первого класса. Швейцар снабдил меня ключом для ящика в гардеробной — громадной комнате, от пола до потолка уставленной шкафами с одинаковыми по размерам ящиками, предназначенными^з для пожитков семинариста. Первоклассникам обыкновенно давались ключи от самых неудобных помещений, попасть в которые можно было лишь при помощи высокой переносной лестницы, или же (Л. 7) от самых нижних, в которых свободно хозяйничали, как оказалось впоследствии, семинарские грызуны.

В корпусе стоял гул сотен голосов, наполнявших классы, коридоры и гардеробную. Старшие с любопытством осматривали новичков, знакомым предлагали услуги. Тут же по разным направлениям сновали продавцы ненужных за переходом в следующий класс потрепанных книг и записок преподавателей по разным предметам. Старый товар расхваливался: «В моей книге, — выкрикивал один, — хоть она стара, а все страницы в целости, да и все, к чему “придирается” учитель, подчеркнута!» В первом классе оказалось более ста человек, которые были разделены на три почти равные отделения. Третье отделение носило название «цивилизации», а обучающиеся в нем — «цивилизаторов».

^а Последняя буква в слове вставлена карандашом.

^б Далее зачеркнуто: для.

^в Далее над строкой вписано: 3.

^г Далее над строкой вписано: 4.

^д Далее над строкой вписано: 2.

^е Далее над строкой вписано: 1.

^ж Далее над строкой вписано: 5.

^з «Пред» — зачеркнуто.

Почтенный эпитет прилагался к ним не без основания. Семинарское начальство имело обыкновение отсаживать в третье отделение оставшихся в первом классе на второй год. Таких объектов набиралось ежегодно человек до тридцати. Это был элемент, уже знакомый (Л. 8) с семинарскими порядками, и, естественно^а, имел большое «просветительное» значение в жизни новичков. Такой порядок распределения первоклассников^б был губителен для^в самих «цивилизаторов», так как «цивилизация» была очагом всяких дебошей и безобразий. Начальство узнавало о «не совсем невинных» затеях «цивилизаторов» и в течение второго года их пребывания в семинарии давало им «чистую отставку». Большинство изгнанников заполняло потом «псалмопевческий университет», так в шутку называли нечто похожее на учебное заведение для готовящихся в ряды низшего клира. В год нашего поступления кому-то пришла в голову добрая мысль уничтожить «цивилизацию», а «цивилизаторов» рассеять в равном количестве по всем трем отделениям первого класса. Мера эта была разумнее, так как под влиянием новых товарищей некоторые, быть может погибшие бы в «цивилизации» личности, исправлялись и доходили до конца семинарского курса.

Большинство вновь поступивших чувствовало (Л. 9) себя в новой обстановке не по себе: держались больше группами, по училищам. Заметно свободнее вели себя лишь перешедшие из Крутогорского училища, для которых семинария, по крайней мере по внешности, не была новостью. «Философы и богословы»^г, прошедшие уже^д часть семинарской премудрости, внушали невольное уважение. Между ними действительно были почтенные возрастом люди. О некоторых из них шутники выражались, что NN не успевает выбрать левую щеку, как правая покрывается у него новой растительностью. В одном классе обучался, напр[имер], господин, товарищ которого по духовному училищу кончил в академии и приехал учительствовать в ту самую семинарию, где, не торопясь, заканчивал свое образование страстно возлюбивший науку его бывший коллега.

Первые дни пребывания в семинарии были посвящены осмотру ее. Центром, который собирал всю семинарию, были церковь и столовая. Но в церковь собирались раз-два в неделю, а в столовую, конечно, ежедневно по нескольку раз. (Л. 10) Столовая помещалась в отдельном корпусе и представляла громадную, с низким потолком комнату, разделенную рядом колонн на две половины. Среди однообразия обстановки на одной из стен ее выделялся большой старинного письма образ 'апостола Иоанна', сидящего в задумчивой позе с приложенным к^е губам пальцем^е. Под иконой стоял так называемый пробный столик. Здесь ставилась *для пробы начальства* порция куша-

^а Написано над строкой вместо зачеркнутого: благодаря этому.

^{б в} Написано над строкой вместо зачеркнутого: имел губительное влияние на.

^в Далее над строкой: большую.

^{г г} Вписано над строкой

^д Вписано над строкой.

^е Далее зачеркнуто: апостола Иоанна.

^{ж ж} Фраза написана над строкой.

ний^а, подаваемых ученикам^б. Начальство этой пробы, конечно, не касалось, и она делалась достоянием близсидящих семинаристов и между ними служила иногда яблоком раздора, особенно если^в было^г что-либо сладкое^г. Тогда соседи «пробного стола» следили, чтобы противоположная сторона не стащила пробы раньше их; в начале обеда касаться пробы не позволялось, и поэтому нужно было не упустить момента: стащить пробу прежде других претендентов^а. Крашенные массивные столы покрывались за обедом белыми скатертями, меняемыми раз в не (Л. 11) дело. К концу они напоминали скорее просоленный брезент. Пред каждым учеником ставилась тарелка; вилка на двоих полагалась одна, а нож обслуживал четверых. Впрочем, по воскресеньям, когда готовилось жареное, вилки давали всем, а количество ножей удваивалось. За^е столом сидели^е по классам и по алфавиту, начиная со старших. *Обедающие рассаживались на длинных тяжелых скамьях, человек по двенадцати на каждой*. Громко разговаривать, а тем более смеяться за обедом^з не полагалось, однако абсолютная тишина воцарялась лишь в присутствии тщедушной фигурки инспектора. Тогда раздавался лишь слабый звон в оловянные миски, означавший, что в данном месте требуется прибавка. Прибавка на каждую миску полагалась до трех раз, но качество ее постепенно ухудшалось. В третий раз приносили чуть ли не одну горячую воду, побывавшую в том котле, где варился суп.

Столовая^и была излюб (Л. 12) ленным местом для демонстраций против чем-нибудь провинившегося члена инспекции или даже самого ректора, а чаще для заявления неудовольствия по поводу каких-либо дефектов пищи. Демонстрации в столовой на семинарском языке носили название «отстукиваний». Отстукивали обыкновенно так. В одном углу обширной столовой начинается все усиливающийся топот ногами. Присутствующему начальству слышно лишь, что стучат в таком-то углу, но кто стучит — не видно, так как семинаристы приучились этот маневр производить настолько искусно, что верхняя половина тела сидящих за столом ничуть не выдавала, что выделывали ноги. «Начальство» направляется в сторону стука — разузнать причину и остановить демонстрантов. Вот тут-то и начинается потеха. В противоположном углу^к топот подхватывается с большей силой и^л, перекачиваясь, как волна, охватывает всю столовую. «Изводить» таким путем нелюбимое

^а В рукописи исправлено из: кушаньев.

^б Далее зачеркнуто: для пробы начальству, неизменно присутствовавшему в столовой во время обедов и ужинов.

^в Далее зачеркнуто: кушанье.

^{г г} Вписано над строкой вместо зачеркнутого: из любимых.

^д Далее зачеркнуто: на нее.

^{е е} Вписано над строкой вместо зачеркнутого: обед садились.

^{ж ж} Фрагмент текста взят в скобки.

^з Слово вписано над строкой вместо зачеркнутого: столом.

^и Далее зачеркнуто: была у семинаристов.

^к Далее зачеркнуто: столовой.

^л Далее зачеркнуто: он.

начальство было в большом обычае^а. (Л. 13) Недоброкачественная пища тоже давала повод для «отстукиваний». Здесь почему-то чаще всего семинаристам казалось, что в кашу вместо масла положено сало, и вот там, где это замечено, раздаются отрывистые неестественные (чтобы не узнали) голоса: «Са-ло! Са-ло! Са-ло!» и легкий стук ногами. Крики и топот усиливаются и сливаются в невообразимый шум, в котором^б ровно ничего «разобрать невозможно»; где-нибудь проказники вместо «сало», кричат: «мало!» и только звонок на молитву прекращает демонстрацию. Иногда подобные «отстукивания» кончались и битьем посуды, но в наше время это было уже только^в преданием. Быть может, во избежание таких инцидентов вся посуда была эмалированная или оловянная, против которой ничего не могла поделывать даже расходившаяся натура семинариста.

Чай пили в этой же столовой. Чаепитие было любимейшим времяпрепровождением учеников. Порядок в это время был иной. Представители инспекции в столовую тогда не являлись. Сидели за чаем обыкновенно не по классам, а по знакомству, (Л. 14) поэтому^а «здесь тогда» раздавались непринужденные разговоры, разносился веселый заразительный хохот. За чаем можно было и почитать какую-нибудь книгу, не опасаясь «набега» инспекции, покурить — словом, поблагодумствовать. Чай и посуда^б были свои, и каждый для хранения их имел шкатулку, которая обыкновенно ставилась на стол, уже не покрытый скатертью. Шкатулки занимали на столах много^в места, и столовая на время чаепития была тесна^г. Некоторым, особенно первоклассникам, приходилось пить чай в соседстве^д с ней^е, в полутемной грязной комнате, известной у учеников под именем «вертепа». Рядом с «вертепом» находилась пекарня, где во время ученического чаепития неизменно заседал^ж за чаем же^з семинарский пекарь, старик с окладистой бородой, прозванный с давних пор «апостолом», который всех желающих снабжал к чаю казенным черным хлебом. В свободное от своих прямых обязанностей время «апостол», вооружившись очками, сидел обыкновенно за чте^и (Л. 15) нием какой-либо неизменно божественной книги.

Учебная жизнь входила в свою колею постепенно; прежде нее привлекала новичка внеучебная, так сказать общественная, жизнь семинарии. Она благодаря примерам старших и влиянию «цивилизаторов» у первоклассников почти с первого же месяца пребывания в семинарии делалась похожей на

^а Далее зачеркнуто: у семинаристов.

^б Далее зачеркнуто: почти.

^{в в} Вписано над строкой, вместо зачеркнутого: не слышно.

^г Слово написано над строкой.

^{д д} Вписано над строкой вместо зачеркнутого: в столовой.

^е Далее зачеркнуто: у каждого.

^{ж ж} Вписано над строкой вместо зачеркнутого: пространства и всем ученикам мест в столовой не хватало.

^{з з} Вписано над строкой вместо зачеркнутого: со столовой.

^и Далее зачеркнуто: тоже.

^к Слово написано над строкой.

жизнь всех остальных классов. Несмотря на обилие инспекции, порядок семинарской жизни никак не укладывался в рамки врученных нам инспектором правил. По пословице «запрещенный плод сладок», первое внимание новичка было обращено именно на запрещенные плоды. Многие из нас курили уже в духовном училище, привычка эта естественно перешла и в семинарию. Но здесь число курящих вдруг значительно выросло. Поступление в семинарию высоко поднимало ученика духовного училища в собственном мнении: ведь из первого класса семинарии дают уже псаломщические места. А это ведь не кое-что! И вот как бы в подтверждение своей (Л. 16) гражданской зрелости новичок брал в рот папиросу. Но на табак нужны были деньги, которых у небогатого в большинстве семинара немного. Тут выручало товарищество. Табакур в период острого финансового кризиса «плюсовал», т. е. просил у куривших товарищей оставить ему небольшой окурочек (на семинарском языке «плюс») и этим окурочком отводил душу, чаще вдыхая в себя не табачный дым, а тлеющую вату. Для нуждающихся был и табачный кредит. Обычно торговля папиросами производилась в каждом классе кем-либо из предприимчивых коллег^а; в первом она была монополией «цивилизаторов». Дело это было выгодное, у торговцев всегда были карманные деньги, и они, сравнительно с другими, роскошествовали. Но это до поры до времени, нередко у них случались кражи. Бдительная инспекция выслеживала каким-то образом ящики в гардеробной, где бывали табачные склады, и безжалостно конфисковала товар, и продавец «вылетал в трубу». Открыть торговлю вновь было (Л. 17) и рискованно, да и часто не позволяли подорванные фиском денежные средства. Людей с коммерческой стрункой встречалось немало. Один, напр[имер], по осеням торговал рыбой, другой яблоками, скупая их у приходивших в город деревенских продавцов. Третий в постные дни бегал версты за 2–3 в деревню за молоком и с барышом продавал его товарищам, нуждавшимся в подкреплении после скудного семинарского стола.

Весьма распространенным в общежитии развлечением была карточная игра, начинавшаяся тоже с первого класса. Любимыми играми были «подкаретные»: три и четыре листика, реже стукалка, а еще реже преферанс. Игроки не любили последнюю игру за ее медлительность. Первые же преимуществовали тем, что их можно прекратить в любой момент, что особенно было важно при «боевых» отношениях семинариста с инспекцией. Инспекция, нужно заметить, старалась бдительно исполнять свои обязанности. Представители ее являлись к нам во всякое время для того, чтобы «уловить» что-либо (Л. 18) незаконное. Картежники, конечно, прекрасно знали эту тактику и предпринимали меры самозащиты. Самой действительной из них был караул. Обыкновенно в складчину, коп[еек] по 5–10 за час, игроки нанимали двух товарищей. Один из караульщиков становился внизу у лестницы, по которой должно было проходить начальство, а другой на верхней площадке ее. При приближении опасности нижний караульный начинал, как бы не замечая

^а Слово вписано над строкой вместо зачеркнутого: товарищей.

надвигающейся опасности, выкрикивать условные слова, верхний тогда стремглав несся в класс, и игроки моментально рассыпались по своим местам, где у них уже были приготовлены раскрытые книги. На караул чаще всего шли неудачливые игроки, которые с первым же заработанным гривенником садились снова к зеленому столу или, точнее, к опрокинутой учительской кафедре, которая была самым удобным местом для картежной игры.

Игра в карты привлекала весьма многих. Сначала^а обыкновенно начинали играть на папиросы, (Л. 19) которых в семинарских лавочках давали штук пять–шесть на копейку. С течением времени папиросы заменялись деньгами. Увлечение игрой доходило до полного забвения всего остального. А так как в классах можно было без особенного риска играть лишь во внеурочное время, то в течение вечерних занятий играли в самых укромных уголках, в какие весьма редко проникала инспекция. Одним из таких мест были помещения для служителей. «Служительские» можно было назвать семинарским клубом, так как это было место, равно доступное для игроков всех классов. Тут рядом с новичком мерялись силами богослов и философ. Грязь этих помещений^б была неопишима. Этим не смущались^в. К неопрятности комнаты прибавлялся удушливый табачный дым, в облаках которого^г «виднелись лишь» силуэты играющих^д, азарт закрывал глаза на все окружающее. Семинарист был способен играть при худших условиях, но лишь бы играть, и часто играл до того, пока не проигрывал все свои капиталы, а иной раз и что-либо из своего имущества. Играли днем, (Л. 20) играли вечером^е, ночью, после двенадцатичасового обычного инспекторского «обхода» спали. Лишь только делается известно, что «ушел», игроки оставляют свои постели и, завернувшись в одеяла, в одном белье идут в какой-либо уголок семинарского здания и играют здесь до звонка, возвещающего о начале нового учебного дня.

Случалось, азартные игроки проводили таким образом несколько ночей подряд и на уроках теряли всякую способность к восприятию. Шел раз урок геометрии. Учитель, большой любитель наглядности, объяснял употребление транспортира, а после объяснения начал обносить этот инструмент кругом парт, чтобы ученики могли подробно рассмотреть его. Все, конечно, с любопытством тянутся посмотреть транспортёр. Невозмутимо сидит лишь один, опустив вниз голову. Это был спящий любитель карт, бодрствовавший^е несколько ночей за любимым занятием. Учитель то ли сознательно миновал его, но шаги уходившего преподавателя разбудили ученика, и он, услышав спросонок голос учителя, готов был вско (Л. 21) чить со своего места. «Показалось мне со сна,— говорил он потом,— будто кто-то назойливо засматривает мне в карты; хотел я его ругнуть как следует, рас-

^а Слово вписано над строкой вместо зачеркнутого: новички.

^{б в} Написано над строкой вместо зачеркнутого: трудно выразить словами.

^{в в} Написано над строкой вместо зачеркнутого: сидели.

^г Далее зачеркнуто: но.

^д Далее зачеркнуто: играли и.

^е Над строкой вставка: пред тем.

кривою глаза и... такой пассаж: “формула” (прозвание учителя) с транспортиром!»

(Л. 21) Случалось и так, что, несмотря на все предосторожности, картежников «накрывали». Карты и деньги, какие оказывались на столе^а, конфисковались, и уличенные получали должное возмездие в виде вычета единиц двух из нормального балла по поведению, сидения в карцере или за голодным столом. Семинарский карцер представлял небольшую полутемную комнату без мебели, запиравшуюся большим замком. Как это ни странно, он помещался в больничном здании. Стены его были исписаны различными мудрыми и немудрыми изречениями, касавшимися больше инспекции, и разрисованы портретами ее же, в чем не без успеха упражнялись невольные посетители этого места исправления.

Но чаще провинившиеся в чем-либо питомцы наказывались «голодным столом». Голодный стол пред (Л. 22) писывался нашими педагогами и для излечения малоуспевающих в науках. Этот стол находился на видном месте столовой. К обеду на нем ставились приборы по числу наказуемых персон, графин воды, стакан и стулья. «Голодающие», закусив, конечно, до обеда, должны были являться в столовую первыми и занимать приготовленные им места. Всем входившим прежде всего бросался в глаза этот стол с сидящими за ним. «Голодуха» была своего рода «торговой казнью». Цели своей она едва ли достигала, о чем свидетельствовало довольно частое применение этого своеобразного наказания.

Употребление «хмельного» начиналось тоже после первого знакомства с семинарской жизнью. Не выпить для компании рюмку водки считалось фактом, унижающим высокое достоинство семинариста; обильно выпивающий, особенно в глазах первоклассников, считался чуть ли не героем. Не напрасно один остроумный бытописатель семинарской жизни назвал семинариста существом пьющим (разумеется, водку) и дующим (поющим) басом. Эти способности высоко ценились среди крутогорских семинаристов. (Л. 23) «Пили» семинаристы чаще группами человека в два-три и более^б, инспектор, напр[имер], никогда не верил, если какой-нибудь подвыпивший ученик говорил ему, что выпил один, и просил указать собутельников. По разным поводам устраивались и общественные выпивки.

У новичков первым поводом «одурманиться» было взаимное поздравление с поступлением в семинарию, а затем объявление о том, кто принят на казенное или полуказенное содержание⁴. «Смывать» казенников и полуказенников было обычаем, освященным многолетней историей. А так как получение казенных субсидий не всегда было результатом дей (Л. 24) ствительной нужды в них, то сборы с казеннокоштных на общую выпивку были различны. С сирот обязательного сбора не полагалось: они жертвовали на это дело «по усердию», и в большинстве лишь те, кто сам любил выпить.

^а Вписано над строкой вместо зачеркнутого: кону.

^б Далее зачеркнуто: один.

Во всех этих сборах первую роль играли, конечно, «цивилизаторы». Выпивали семинаристы и без всяких внешних поводов, а просто потому, что кому-нибудь из любителей придет в голову мысль: «Не худо бы сегодня горло промочить». О своем желании он объявлял, и тотчас же предложенная идея получала одобрение и в фуражку инициатора^а начинали сыпаться со всех сторон даяния «на кварту» (четверть). Чаще всего эти импровизированные кварталы распивались пред ужином, накануне праздников, когда было меньше риска натолкнуться на инспекцию.

Самый процесс выпивки напоминал порядок распития общественного вина на деревенских сходах. Около задних парт располагались виноразливатели, к которым гуськом подходили желающие выпить с какой-нибудь посудой, по возможности одинакового размера. С присказками, прибаутками разливалось вино, и чрез несколько ми (Л. 25) нут сказывались результаты: более слабые натуры еле владели ногами. Таких брали на руки и с каким-нибудь песнопением несли в спальню. Большинство же захмелевших оставалось в классе; появлялась гармошка, начинались песни и пляска, кончавшаяся разудалым трепаком, в котором некоторые из семинаристов не уступали балетным танцорам.^б Случались и такие^в дни, когда почти вся Крутогорская семинария была «на верхнем взводе». Это 26 сентября (Богословский праздник)^г, тогда старшие богословы угощали своих приятелей из младших^д классов. В ответ на это приглашение весной, тоже в день Иоанна Богослова^е, устраивали выпивку в пятом классе. Прочие^ж классы, конечно, не отставали от старших.

Именины также ознаменовывались выпивкой. А так как не всякий именинник в состоянии «выставить» угощение, то обычно в начале года собирались сведения о времени именин всех товарищей и, с общего согласия, назначались дни, когда должны были угощать класс Иваны, Михайлы, Петры и т. д., (Л. 26) устраивая для этого складчину. Для большей безопасности и удобства именины справлялись чаще в каких-нибудь третьеклассных городских номерах. Начальство, конечно, всеми мерами стремилось вывести пьянство. На замеченных в нетрезвости сыпались всевозможные наказания; массу воспитанников увольняли за это, но сокращения пьянства за шесть лет пребывания в семинарии заметить было нельзя.

Чтобы заглушить запах водки от развитого инспекторского «нюха», предпринимались различные меры. Самой употребительной было заедание сухим чаем, полоскание рта одеколоном и т. п. Сохранить не в меру выпившего однокурсника от бдительного начальства считалось обязанностью товарищества, и здесь крутогорские семинаристы проявляли изумительную находчивость, скрывая бесчувственных товарищей в таких мес-

^а Исправлено, в рукописи: инициаторы.

^{б в} Вписано над строкой вместо зачеркнутого: бывали в году.

^{в в} Вписано над строкой вместо зачеркнутого: когда в шестом классе бывало разлитое море для гостей, приглашаемых из других.

^г Вписано над строкой вместо зачеркнутого: в которой участвовали шестиклассники. Другие.

тах, в которых и в голову не приходило справляться самым опытным членам инспекции [...]»⁷.

(Л. 30) Любители выпивать в семинарии были всегда. И спрос создавал по временам оригинальное предложение. Несмотря на бдительность начальства, в некоторых классах открывалась продажа водки: кто-нибудь из оборотливых семинаристов устраивал буфет. Чаще буфеты появлялись во время рождественских и пасхальных каникул, когда надзор инспекции несколько ослабевал. Местом буфетов были классные шкафы для хранения книг. На одной полке расставлялись бутылки, на другой закуска: мелко нарезанная колбаса, капуста и огурцы, взятые из семинарской кухни. Большого разнообразия в буфете, конечно, не было. Вкусы семинариста больше лежали к «смирновке» или к произведениям «вдовы Поповой», которых потом^а заменила «монополька». Наряду с «очищенной» здесь можно было найти и что-либо «полегче», вроде рябиновки, но до слабых, так называемых дамских, вин семинаристы не снисходили. Торговля вином была несомненно выгоднее табачной. Но по какой-то странной случайности ни одному буфетчику не удавалось дойти до (Л. 31) конца семинарии.

Дни отпусков на рождественские и летние каникулы также сопровождались попойками. Выпивка тогда происходила только не в стенах семинарии, а дорогой. Разливанное море бывало тогда на постоянных дворах ближайших к Крутогорску сел, где имели обыкновение кормить лошадей «протяжные» ямщики, приезжавшие, по их выражению, за «церковными вещами», т. е. за семинаристами. Любители выпивки, не стесняемые никаким контролем, расходились здесь всюду: бродили по селу и своим громогласным зёвом оглашали «мирные селения, обыватели которых»^б поэтому уже прекрасно знали, что «кутейники»^в на Рождество едут; напивались до бесчувствия, напавали и своих возниц. Иной раз случалось, что некоторых укладывали в повозки, как «какие-нибудь неодушевленные предметы»^г. Об этом знало, конечно, и начальство, но было бессильно что-либо предпринять. Только с давних пор установился обычай не отпускать в один день на рождественские праздники епархиалок^д, главным мотивом к чему послужило пьянство семинаристов. Отъезжающих на лето на пароходах начальство строго предупреждало: ни в каком случае не пить на пристанях, куда обыкновенно забирались с ночи.

Запрещения, конечно, вызвали обратное действие. «Будучи уже младшими богословами, мы были»^г отпущены на вakat. Накануне нашего отпуска пьяные семинаристы младшего класса устроили на пристани какой-то дебош, дошедший до начальства. По этому поводу нам было сделано особенное внушение. Но^а большинство отъезжавших все-таки «кутнуло» и в таком виде

^а Слово вписано над строкой вместо зачеркнутого: ныне.

^{б б} Вписано над строкой вместо зачеркнутого: мирных обывателей, которые.

^{в в} Вписано над строкой вместо зачеркнутого: какие то мешки.

^{г г} Фраза написана над строкой вместо зачеркнутого: Раз, мы были уже в старшем классе.

^д Слово вписано над строкой.

явились на пристань спать. Кутеж прошел без всяких инцидентов, и казалось, что все сойдет благополучно. Но вышло не так. На беду на вечернем пароходе, запоздавшем дольше полуночи, должен был приехать кто-то из родственников инспектора. Вечером на пристани появился инспектор. Подвыпившие семинары еще не спали и, вместо того чтобы подобру-поздорову убраться с глаз, начали между собою бранить инспектора. Инспектор заметил, что не все обстоит благополучно, и явился в каюту, куда прошли пьяные... Чтобы отличить пьяных, начальство обнаружило чуть ли не соломоновскую мудрость, заставив всех спавших поочередно проходить по одной половине... Если замечалось, что марширующий «пишет мыслете», его инспектор приглашал отойти в сторону. Таких набралось человек восемь [...]»¹⁰.

(Л. 34) Пристрастие крутогорских семинаристов к выпивке было, по-моему, главным образом результатом полной оторванности от общества, в какой приходилось жить им. Город был далеко; часто посещать его не приходилось, да и не было цели в этих посещениях: знакомых имели там лишь весьма немногие счастливы. Утомительно однообразная жизнь надоедала. Натура искала какого-либо развлечения, и вот на сцену у некоторых являлось наследственное предрасположение к хмельному. Из истории известно, что одним из заметных пороков в жизни русского духовенства начиная чуть ли не со времен князя Владимира было пьянство.

Впрочем^а, были и другие стремления; иной раз появлялось желание каким-либо культурным начинанием скрасить свою жизнь, но не все эти желания поощрялись начальством. Среди учеников, напр[имер], были большие любители театра. В городе ежегодно по зимам играла какая-нибудь немудрая труппа, одинаково бравшаяся за постановку трагедий, комедий и драм, а иногда и опереток. Вход в театр был недоступен для семинаристов, и лишь некоторые инспектора (из более либеральных) разрешали посещать театр, когда там давались вещи классического репертуара вроде «Ревизора», «Гамлета» и т. п. Современный (Л. 36) репертуар был недоступен для нас. Но здесь, конечно, мы пускались на хитрости. Уверяли, напр[имер], инспектора, что в город приехал дядя, мать или какой-нибудь родственник и желает взять на квартиру, сочиняли на имя инспекции письма с подобными просьбами от мифических дядюшек и тетюшек. А некоторые «удирали» в театр без всякого разрешения. Но это было рискованно, потому что около 12 часов ночи инспекция обязательно обходила спальни, и от нее не могло укрыться отсутствие сбежавшего, так как над каждой койкой была дощечка с фамилией ее владельца.

Но и здесь удавалось обманывать бдительность воспитателей. В каждом классе были специалисты по подделке чучел вместо отсутствующих учеников. Фигура спавшего изготовлялась из какой-нибудь одежды и закрывалась одеялом. По выделке чучел были такие искусники, что иногда не только инспекция не догадывалась, что вместо ученика лежит штуки две шуб, а даже

^а Слово написано над строкой вместо зачеркнутого: у нас.

рядом спящие товарищи, не знавшие заранее об отсутствии соседа. Оставленные на койках чучела, конечно, не всегда могли свидетельствовать о том, что владелец кровати обязательно в театре, а не где-нибудь в другом месте...

(Л. 37) Знакомство с театром развивало желание самим устраивать спектакли, и попытки в этом направлении предпринимались почти ежегодно. Начальство почему-то весьма жестоко преследовало эти невинные развлечения, вероятно, выходя из тех соображений, что увлечение театром осуждено еще во времена вселенских Соборов¹¹, и для лиц, готовящихся к священному сану, предосудительно смотреть «лицедейства». Домашние спектакли интересовали и волновали не только участников, но, можно сказать, всех семинаристов. К ним усиленно готовились; необходимые костюмы доставали нередко из театра. Для постановки же бытовых пьес ученики, семьи которых жили в городе, тащили из дома наряды своих сестер, матерей, знакомых. Все это совершалось в строжайшем секрете от начальства. Но скрыть момент самого спектакля было невозможно, так как во всех корпусах, кроме того, где ставился спектакль, после вечерней молитвы воцарялась мертвая тишина, а там, где предполагалось представление, был[о] необычайное оживление.

Во время нашего пребывания в семинарии устрои (Л. 38) вались два общесеминарских спектакля, оба, благодаря вмешательству инспекции, кончившиеся весьма печально. В первый раз семинарская труппа ставила пьесу Лермонтова «Испанцы». Закрытый занавесью, наскоро сшитой из простынь, угол зала представлял сцену. Пред занавесью сначала сидели на полу, потом на скамьях и диванах, а дальше стояли уже на ногах зрители. Кулисами служила учительская. Пред началом спектакля недурной ученический оркестр исполнил какую-то музыкальную пьеску. Началось представление. Роль Ноэми исполнял и в натуре напоминавший барышню ученик. Когда же его увидели в женском костюме, иллюзия получилась полная; голос и манеры тоже ничуть не выдавали артиста. Характерны были и старуха няня, и старый еврей. Спектакль шел превосходно. Начался уже второй акт. Старик еврей вводит в комнату молодого раненного испанца, одетого в весьма изящный национальный костюм, взятый из театра. На сцене полная захватывающего интереса картина. Зрительный зал замер в созерцании, и... о несчастье! С лестницы раздался пронзительный голос караульщика: «По (Л. 39) мощник идет!» Раненый испанец, доселе едва живой, мгновенно скрывается со сцены. Старик еврей, сорвав бороду и пейсы, стремглав несется в толпу зрителей. Лампы гасятся; в темном зале волнующаяся, шумящая толпа, устремившаяся наконец на заднюю лестницу, где не было опасности встретиться с представителем инспекции. К счастью, «помощник», явившийся разгонять сборище, был в хороших отношениях к воспитанникам. «Господа, разойдитесь,— громко сказал он при входе в зал,— но, пожалуйста, без шума и давки: я никого не ловлю, никого не записываю!». Толпа хлынула и к тому входу, около которого стояло начальство, и чрез несколько минут зал опустел. Тяжелых последствий от этого спектакля не было. Розысков не было, и только по случайно попавшей в руки инспектора программе спектакля узнаны были актеры, отсидевшие за свою склонность к служению Мельпомене в карцере.

Не таковы были результаты второго представления. Во второй раз был объявлен к постановке «Аспид» Салова. В назначенный вечер почти вся семинария собралась в том же зале, где был первый (Л. 40) спектакль. На беду семинаристов дежурным в этот день был самый нелюбимый из помощников инспектора, с которым были счеты почти у каждого ученика. Не успел оркестр исполнить своего номера, как в окна заметили, что к корпусу движется тяжеловесная фигура Костромина. «Братцы, не расходитесь,— раздались голоса,— мы его, такого-сякого, проучим! Гасите лампы!» В зале воцарилась непроницаемая тьма, и здание гудело сотнями возбужденных голосов. Луч света падал лишь из коридора, по которому уже шагал неустрашимый блюститель порядка. В зал он, однако, войти не решился, а своим грубым голосом отдавал приказания толпе из коридора. В ответ ему шум еще больше усилился и послышалась ругань по адресу пришедшего. Но он продолжал настаивать на своем. Но тут над головами толпы кто-то с пением стал раскачивать деревянный диван, который чрез несколько мгновений полетел в помощника. Не отстранись он от него вовремя, последствия могли быть весьма серьезны. В тот же момент какой-то ученик, с ног до головы завернутый в одеяло, «обошел начальство с тыла» и взмахом (Л. 41) простыни загасил висящую в коридоре лампу. Бесстрашное начальство поняло опасность положения — остаться во мраке лицом к лицу с разъяренной толпой, и пустилось в бегство. Но на парадной лестнице тоже был мрак и слышались раздраженные голоса: отступление было отрезано. Убежищем для убежавшего помощника явился освещенный класс, бывший на его пути. Целый час просидел тут невольный узник, ожидая освобождения, но на помощь никто не являлся. На ночь оставаться здесь было, конечно, неудобно, и он решает выбраться из своего заключения. К тому же шум в корпусе уже значительно стих. Ощупью спускается он с лестницы, но здесь новая неприятность: с верхней площадки сыплются на него галоши, валенки и другие попавшиеся под руку вещи.

Таков был финал этого неудавшегося спектакля: с «Аспидом» мы так и не познакомились, зато много горя и несчастий пришлось вынести потом лицам, даже косвенно принимавшим участие в предполагаемом представлении. Здесь задета была «личность» представителя инспекции, и это послужило поводом для жестоких репрессий. (Л. 42) Виновных в оскорблении помощника найти не могли, и вся вина в происшедшем событии, как это ни странно, была возложена на артистов и музыкантов, готовившихся развлечь товарищей. Более двадцати человек были уволены из семинарии. Семинарский оркестр лишился лучших сил и после такого «погрома» долго не мог оправиться. Эта жестокая расправа на несколько лет остановила в семинарии увлечение домашними спектаклями. Они начались снова чрез несколько лет, но устраивались с большими предосторожностями. Зрителей из всей семинарии не допускали: спектакли были классными, и большинство семинаристов узнавало о представлении уже после его постановки. Местом спектакля избирался уже не зал, а классная спальня, а временем не вечер, а какой-либо праздничный день, когда большинство семинаристов отправлялось на послеобеденную прогулку в город.

Вместо спектаклей начинались одно время маскарады, устраиваемые по вечерам пред отпуском на Рождество. Костюмы приготавливались домашним образом и изяществом и разнообразием не отличались. (Л. 43) Преобладали уроды и военщина, начиная с рядовых и кончая генералами с бумажными орденами и прочими аксессуарами этого звания. Иной раз появлялся удачный грим кого-либо из преподавателей или инспекции, производивший всегда фурор.

Начальство, беспощадно изгонявшее учеников за устройство спектаклей, не было, однако, против всяких развлечений. Оно, напр[имер], если не поощряло, то все-таки разрешало литературные вечера. Они обыкновенно устраивались раз, редко два в год. Чаще они бывали в канун отпуска на святки или на масленицу. Вечера эти были для нас большим праздником, так как на них, кроме учеников и семейств корпорации, могли присутствовать родственники и знакомые воспитанников. Посторонней публики в небольшой семинарской зале набиралось иной раз более двухсот. Ученический оркестр подготовлял к этому случаю несколько музыкальных номеров, хор разучивал иногда весьма содержательные вещи из опер, а чаще пел народные песни в духе капеллы Славянского¹², выступали иной раз и недурные солисты. Видное место на (Л. 44) вечерах занимала декламация. Искусных чтецов было немного, но ни один вечер, однако, не проходил без художественного чтения. Более всего семинарским декламаторам удавалось^a комическое. Хороши были и диалоги, в которых сказывалась страсть семинаристов к театру. Читали, напр[имер], сцены из произведений Островского, Гоголя, Тургенева и др[угих]. Помню, публика раз была приведена в полнейший восторг разговором деревенских мальчиков-пастухов из «Записок охотника», разыгранным учениками первых классов, одетыми в простые рубашки. Подготовка к вечерам начиналась задолго до назначенного дня. Зато они удавались всегда на славу. Казенный зал любителями и знатоками декоративного искусства весьма затейливо украшался гирляндами из хвои, искусственными цветами, картинами доморощенных художников — словом, ко дню торжества был неузнаваем.

Поступление в семинарию совпадало с тем периодом в жизни каждого из нас, когда человек переходит от полусознательного детства к сознательной, бурной, (Л. 45) увлекающейся юности. Что же мы представляли к этому времени? Наш умственный багаж, с которым мы являлись в семинарию, был в общем весьма ограничен. Это вполне естественно. Четыре года обучения в духовном училище убивались Бог знает на что. Это какая-то жалкая пародия на учебные заведения, в которых, кажется, до сих пор напищивают учеников «классической мудростью» в виде грамматик Григорьевского и Смирнова¹³. Изучению этих грамматик посвящалось тридцать два урока училищного курса. Это было сплошное зубрение правил и исключений, переводов бессмысленных фраз о неприятелях, влезających на стены, переходящих реки, о непонятных нашему детскому уму Кирах и Камбизах и т[ому] под[обном]. К концу своей училищной учебы мы прекрасно знали употребление герундиев и супинов,

^a Исправлено, в рукописи: удавались.

творительного самостоятельного, винительного с неопределенным, могли с русского на греческий перевести какую-нибудь протяженно сложенную фразу, но литературное изложение какого-либо рассказа на родном языке было не по силам большинству из (Л. 46) нас. И это при упорном труде со стороны памятного до сих пор учителя русского языка. Читать приходилось нам тоже мало, да и без всякой системы. Большинство товарищей поглощали лишь Майн Рида, Жюль Верна и т. п. Словом, проучившись в этом архаически-уродливом учебном заведении, большинство из нас по своему умственному развитию далеко отставало от учеников нынешних двухклассных сельских школ¹⁴.

В семинарии кроме наскучивших уже языков мы встречали новые предметы, которые, как всякая новинка, вначале заинтересовали многих. В училищной обстановке мы жили безотчетно, изо дня в день. Здесь стало пробуждаться сознательное отношение к окружающему. Впрочем, на многих новая обстановка действовала, как уже было замечено, отрицательно. Пороки, задатки которых замечались и в училище, стали приобретать большую устойчивость. Главной причиной этого явления было странное сомнение перешедших в семинарию учеников. Пятнадцати-шестнадцатилетние юноши, не развив в себе стрем (Л. 47) ления к знанию, начинали воображать себя вполне взрослыми, развитыми настолько, что дальнейшая работа над собой казалась им лишней. «Ну что ж, не буду учиться, выгонят, — рассуждает новичок-семинарист, — на место поступлю, в псаломщики в богатое село. Житье-то будет! Куплю лошадь, а то пару». Уносясь в мечтах своих дальше и дальше, он бросает занятия, а к Рождеству подает прошение о выходе и оставляет семинарию вместе с десятком «цивилизаторов».

Уже первые рождественские каникулы довольно значительно сократили состав нашего курса, состоявшего при поступлении из ста с лишком человек. К Рождеству семинарию оставляли и возлюбившие самостоятельность, а большинство принадлежало к «изгоняемым» семинарским начальством за леность и разные продерзости. Вольных и невольных изгнанников на протяжении шести лет в нашем курсе было поразительно много: из 105 поступивших до шестого класса дошло лишь 25; да человек до десяти (Л. 48) отстали от курса в младших классах и кончили после нас. Семинария в этом отношении была каким-то «чистилищем», сквозь огонь которого проходили лишь немногие счастливицы.

Причины увольнений были иногда прямо изумительны, и, кажется, одна лишь семинарская педагогика не видела в них ничего ненормального. Вот пример. Из семинарии был переведен в другой город ректор. Один из наших товарищей, пользовавшийся расположением бывшего ректора, вступил с ним в переписку. О существовании переписки узнал инспектор и счел нужным передать об этом архирею — врагу бывшего^a ректора. Архирей, искавший случай еще чем-либо насолить уехавшему, заинтересовался известием. Будучи

^a Вставлено над строкой вместо зачеркнутого: уехавшего.

весьма далеким от людей вообще, он никак не мог, вероятно, представить, о чем бы могли переписываться две отдаленные дистанции: ректор и ученик. Инспектор в угоду архирею требовал у товарища выдачи ректорских писем под угрозой увольнения. Ученик продолжительное время упорствовал, но наконец письма все-таки попали инспектору (Л. 49) под условием: не знакомить с их содержанием никакое третье лицо. Захваченная переписка оказалась для инспектора весьма интересным материалом. Между прочим, в письмах ректор спрашивал о жизни семинарии, об отношениях новых начальников к учащимся, не раз упоминал архирея, прилагая к нему какой-то не особенно почтительный эпитет. Увидев это, воспитатель, давший слово возвратить переписку владельцу, передает ее архирею. Об этом узнал ученик и, конечно, потребовал возвращения писем. Инспектор в ответ ему повышает тон, говорит, что переписка послужит новым обвинительным актом против и ему неугодного ректора, и... гонит ученика из квартиры.

Юноша, державший весь вопрос о письмах в секрете, был глубоко потрясен происшедшим; его особенно мучило то, что он явился каким-то предателем человека, от которого видел много добра и искренности. Средств борьбы с властным инспектором у него никаких не было: инспектор перестал его даже принимать для объяснений, и наконец он поведал о своем несчастье товарищам по классу. Вероломство инспектора воз (Л. 50) мутило всех. Было постановлено послать к инспектору депутацию с требованием исполнить данное им слово и завтра же возвратить письма. Депутаты возвратились ни с чем, объявив лишь о желании инспектора лично переговорить с классом по этому поводу.

Наступил момент объяснения. Инспектор без всяких рассуждений с первых же слов категорически заявил, что писем он не возвратит, что в них бывший ректор компрометирует семинарию, оскорбляет «владыку», возбуждает учащихся против начальства и т. п. Довольно многочисленный класс это дикое объяснение инспектора старается заглушить шумом и кашлем. Демонстрация^а бесит^б инспектора^в; он требует тишины. Недовольство и знаки протеста усиливаются, и наконец инспектор кричит, чтоб объяснялись не все, а кто-нибудь один. Воцаряется тишина. Поднимается один из товарищей, определенно формулирует желания класса и пункт за пунктом опровергает речь инспектора и в возбуждении от всего пережитого называет его поступок бесчестным. Брошенная в глаза правда была не по душе нашему воспитателю. Он снова начинает что- (Л. 51) то кричать. В ответ ему со всех парт несется: «Нечестно! Нечестно!», и под эти крики он оставляет класс.

Последствия этой истории были невероятны. Ученик, переписывавшийся с ректором, принужден был оставить семинарию, а другой честный человек, от лица класса защищавший его, был уволен. Последний был охарактеризован инспектором как «вредный элемент» класса, при существовании

^а Далее зачеркнуто: наша.

^б Далее над строкой вписано: 2.

^в Далее над строкой вписано: 1.

которого в семинарии он не ручается за спокойствие учащихся. Вот как просто разделялась наша инспекция с негодными ей людьми. Где было искать защиты от бесконтрольно-властного союза инспектора с архиреем? По условиям местной цензуры даже в печати не пришлось тогда огласить этого возмутительного беззакония, ясно рисующего, как по прихоти личных счетов начальства разбивалась молодая жизнь. Товарищеская солидарность тоже была бессильна в неравной борьбе. Лишь в душе каждого из нас остался осадок злобы и горькой обиды, которому, как увидим далее, удалось вылиться и наружу. К счастью, оба изгнанника были талантливы и не погибли в жизненной борьбе.

(Л. 52) Первый год пребывания в семинарии между нами долгое время не устанавливалось добрых товарищеских отношений: даже в мелочах проявлялась грубость. Взаимные отношения носили отпечаток того, чем они отличались в духовных училищах. Нередко можно было наблюдать площадную брань, крупные ссоры, оканчивавшиеся ожесточенными драками, так что иной раз вся одежда бойцов оказывалась разорванной на лепестки. Иногда устанавливались враждебные отношения даже между отделениями. Помню, по какому-то маловажному поводу возникла сильная вражда между двумя отделениями нашего первого класса. Отношения обострились до того, что ученикам одного враждебного лагеря опасно было проходить около помещений другого. Неизвестно, чем кончилась бы эта история, если бы третья, до сих пор нейтральное отделение для прекращения «братоубийственной вражды» решительно не встало в защиту слабейшего из них, и тем не дана была возможность дойти распре до взаимного избиения, к чему, кажется, было все готово: запасены были палки и другие холодные орудия истребления.

(Л. 53) «Бурсацизм» проявлялся и в развлечениях. «Орлянка», карты и водка, как было говорено, занимали среди них чуть ли не первое место. Нравственное падение начиналось у некоторых тоже в первом классе; и здесь «просветителями» были тоже часто великовозрастные «цивилизаторы». Нужно, впрочем, заметить, что эти факты были единичными. Припоминается фигура одного цивилизатора — «детины непобедимой злобы»¹⁵ во всех отношениях, который имел приятеля в нашем отделении. За вечерними занятиями он часто являлся к нам и, обращаясь к своему другу, многозначительно говорил: «Алеха, сообрази!» Мы сначала недоумевали, что бы могла значить эта лаконическая фраза. И уже чрез несколько месяцев стало известно, что «Алеха», специалист по устройству чучел на койке этого «детины», должен был в данный вечер соорудить из шуб и пальто его фигуру, чтоб о ночном путешествии не узнала инспекция. Ознакомившись с новичками ближе, этот субъект бравировал своими похождениями, вдаваясь нередко в подробные описания всего того, что он встречал в эти ночи в грязных притонах города. Недостатка в слушателях этих (Л. 54) скабрзностей, конечно, не было, и они оказывали свое влияние: опускались и другие, прежде чистые, но слабовольные юноши. Словом, нравственная атмосфера, окружающая нас, заставляла желать многих улучшений.

Воспитатели наши (инспектор и три его помощника) стояли от нас далеко, были не руководителями, а лишь сыщиками. Вся их деятельность по отношению к нам сводилась к исполнению внешне формальных обязанностей. Они будили долго заспавшихся на утреннюю молитву, во время уроков и перемен бродили по коридорам, наблюдая, чтобы не было каких-либо безобразий, вечером «перекликали» нас, чтоб убедиться, не сбежал ли кто без разрешения в город; посещали столовую во время обедов и ужинов; по праздникам стояли в церковных дверях, наблюдая, чтобы молящиеся вели себя чинно и часто не выбегали из храма; встречали возвращающихся из города семинаристов, следя за тем, чтобы уловить зело послуживших Бахусу. (Л. 55) Этим почти и исчерпывался круг обязанностей наших воспитателей. Близких отношений между нами не было. Недоверие полное, недоверие с той и другой стороны — вот характеристика наших отношений. Живое, предупреждающее нас слово мы слышали очень редко. Нас больше карали и карали. И с нашей стороны все стремления сосредоточивались исключительно на том, как бы «обдуть, одурачить, провести» инспекцию. В этом отношении мы доходили до виртуозности.

Одним из важных преступлений, кроме служения богу вина, считалась в семинарии манкировка богослужением. За посещением церкви был весьма строгий надзор. После звона ко всенощной или к обедне инспекция обходила корпуса, осматривала там все укромные местечки, кончая клозетами, где можно было незаметно укрыться. Но все меры насадить так потребность в посещении церкви были тщетны. Многие готовы были несколько часов просидеть где-нибудь в шкафу в самой неудобной позе, лишь бы не идти к богослужению (Л. 56) жению. Весна для укрывательств была самым удобным временем. За час, за два смельчаки, рисковавшие строгим наказанием, уходили в прилегающий к семинарскому двору лесок, влезали на крыши корпусов, где считали себя в полной безопасности, так как инспекции в голову не приходило справляться о состоянии кровли. Загнанные насильно в церковь и здесь сильно надували инспекцию. В задних рядах, удаленных от взоров начальства, молящиеся спокойно читали романы, учили уроки, повторяли слова, садились на пол и вели между собою оживленные беседы, а находились и такие субъекты, которые решались курить около печи, стоявшей в самом дальнем углу церкви, предварительно открывши трубу, чтобы «табачный фимиам» не разносился по церкви.

Отрицательное отношение к исполнению религиозных обязанностей доходило у некоторых до полного кощунства. Первая неделя поста была, напр[имер], временем говения¹⁶. Но что это было за говение! В головах продолжался масляничный угар. Жизнь без уроков под (Л. 57) держивала праздничное настроение. Картежники все свободное время просиживали за картами. Любители орлянки целыми днями звонили в зале пятаками и гривнами. На исповедь ходили по классам в алфавитном порядке. Бывало, подойдет очередь исповедоваться кому-либо из сидящих за картами. С недовольным видом оставляет он свое занятие и идет выполнить обязанность. Через несколько минут исповедник бежит обратно и, занимая оставленное место,

с восторгом говорит: «Отпустил скоро; спрашивает легко: на все вопросы ответил!» Раздается общий смех, и игра продолжается.

Так тщетны были все официальные стремления насадить среди нас религиозность. Однако нельзя сказать, чтобы окончательно в семинарской среде не было религиозных людей. Были, но не семинария, а семья создавала и поддерживала их. Семинарская же система воспитания ничего, кроме мертвящего внешнего формализма, не давала своим питомцам. Здесь, несомненно, корень многих печальных явлений в этой области, постоянно обнаруживающихся в жизни русского православного духовенства.

(Л. 58) Глава вторая

Начальники. Слабоумный архимандрит. Деспотичный протоиерей. «Видите ли, да». Инспектора. Стеклобитие. Костромин. Футлярный человек. «Иов». Подозрительный гомилет. Щеголеватый богослов. Неистовый Мерцаев. Памятные наставники.

Ректоров, непосредственных руководителей семинарии, за время нашего обучения сменилось трое: два протоиерея и архимандрит. В то время вообще в семинариях, а в особенности в Крутогорской, монашеского элемента было немного. Кроме ректора-архимандрита у нас был еще монах из числа четырех инспекторов, сменившихся за шесть лет. Впрочем, монах наполовину: из вдовцов¹⁷. Лишь при назначении в инспектора он дал обещание архиерею принять иноческий чин^а.

(Л. 59) Архимандрит-ректор был почти юноша, каких много развелось в семинариях потом¹⁸. Это был нервно-расстроенный, слабовольный, недалекий субъект, не имевший даже в своей жизни ни малейшей самостоятельности: с ним жила татапа, которая следила за каждым его шагом. Он промелькнул перед нами метеором. Через несколько месяцев службы в семинарии нервы о. архимандрита настолько расшатались, что татапа свезла его, кажется, в какую-то психиатрическую лечебницу. В жизни семинарской он не оставил ровно никакого следа. Припоминается одно посещение им нашего класса. Внешний вид его возбуждал в одних из нас сострадание, у других насмешки. Приходит он к нам и, пытаясь завязать общий разговор, спрашивает: «Вы ведь нынче проходите физику?». «Проходим, отец ректор!» — отвечаем хором. «А хорош ли у вас физический кабинет?» — «Порядочный, о. ректор». — «А опыты преподаватель показывает вам?» — «Как же, о. ректор, показывает, показывает». — «А видали ли вы модель паровоза?» — (Л. 60) «Не приходилось: у нас ее нет». — «А вот, когда я учился, — продолжает своим тягучим, пискливым голоском ректор, — у нас в физическом кабинете была модель паровоза. Преподаватель нальет в него воды, зажжет лампочку и пустит его между партами, паровоз и покатит. Какой-нибудь шалун подставит ногу — произойдет крушение: паровозик на бок. Хе-хе-хе-хе! Ну, поднимут его, он

^а Далее зачеркнуто: Это был добрый по душе человек, доступный, внимательный, но неудачник в жизни, страдавший запоем, за что и был потом низведен в преподаватели с переводом в другой город.

опять победит». Вот единственная беседа, какую нам пришлось выслушать от этого начальника. Скоро он заперся в квартире и никуда не показывался. Начали ходить слухи, что ректор сошел с ума. Однажды к подъезду ректорской квартиры подкатила большая зимняя повозка с дверками. Закутанный в шубы, вышел в сопровождении тамага ректор и навсегда укатил из нашей семинарии.

Ректора-протоиереи были в ином духе. Один из них несомненно талантливая личность: блестящий стилист, незаурядный оратор, знаток пения, художник и даже поэт. Но положительным его свойствам в избытке отвечали отрицательные. (Л. 61) Так, в своей приветственной речи он долго распространялся об искренности отношений к учащимся, представляя себя заботливым отцом их, но это торжественное заявление не помешало ему в первое же полугодие службы произвести за устройство спектакля массовую выгонку своих «любимых чад». Изгнанию подверглись несколько десятков, и большинство уволенных были людьми с артистической стрункой: музыканты, художники, любители сцены. Долго помнили семинаристы эту жестокую расправу и всегда с недоверием относились ко всем, даже добрым, начинаниям этого ректора.

Под свое особое попечение он взял новичков-первоклассников, думая на них испытать свои педагогические приемы. Опыт потерпел неудачу. Питомцев своих он разделил на овец и козлищ и одних миловал, а других не выносил. В основу этого странного деления он ставил известное изречение «лицо есть зеркало души» и мнил себя великим физиономистом и знатоком юношеской психологии. Подобная тактика лишь озлобляла учеников. Близость к ректору некоторых «овец» возбуждала подозрение в товарищах: их считали (Л. 62) ректорскими шпионами, и грубое товарищество разделялось с ними варварски, отказывая не только в какой-либо помощи, но прекращало даже разговор с ними, а нередко подвергало их и физическим внушениям. До тех пор пока большинство не доросло до вполне сознательного отношения к окружающему, эти весьма, может быть, мнимые шпионы были какими-то презренными «париями» для товарищей. К характеристике ректора нужно прибавить еще его властность, какую он проявлял не только к ученикам, но и к преподавателям и даже членам семинарского правления.

Внешность ректора была рельефным отображением этих свойств его нрава. Начинаясь серебриться голова его всегда была гордо поднята, пронизательные глаза, в которых светилось часто презрение к окружающим, смотрели куда-то ввысь, ходил он тяжелым, размеренным шагом, причем сильно ударял в пол своим двухаршинным посохом; характерной особенностью его было еще звонкое, раздававшееся по временам откашливание. Эти громкие звуки были благодетельны для нас: услышав (Л. 63) их, мы знали, что «он» близко, и спешно делали соответственные приготовления, убирая с глаз входившего то, что могло вызвать ректорский гнев и неумолимую «распеканцию».

Особенно эффектен был вход его в церковь пред службой. Ученики должны были собираться в храм по первому удару колокола и здесь занимать

определенные места. Церковь уже полна, а ректора нет. Стоим 10–15 минут, а «его высокопреподобие» все еще не является. Иногда в ожидании «персоны» приходилось простаивать по полчаса. Но вот внизу, около швейцарской, раздается ректорское откашливание. «Пришел!» — пробегает по рядам. И ректор между рядами справа и слева отвешивающих поклоны семинаристов своими тяжелыми шагами проходит в алтарь. Раздается у всех вздох облегчения, и служба начинается. Ученики сначала терпеливо ожидали этого «въезда триумфатора», как выражались некоторые. Но потом бессмысленное ожидание стало возмущать всех и начались сперва слабые, а потом и более решительные протесты против опаздываний ректора. При входе (Л. 64) его в храм вдруг раздавался по всей церкви убийственный припадок коклюша и шарканье ногами. После нескольких подобных сцен ректор понял, что дразнить гусей не следует, и начал приходить в церковь следом за учениками.

Членов корпорации этот самовластный ректор в буквальном смысле обезличил, а более трусливые из забытых педагогов трепетали пред ним, не смея возвысить голос в защиту правого дела, и постановления семинарского правления вполне можно было назвать его решениями. Наконец деспотизм ректора сделался невыносим; к тому же он не поладил с архиереем. Во главе оппозиции встал монах-инспектор. Приехал ревизор, и дело кончилось переводом обоих. Воспитательная система его потерпела полное фиаско. Курсы, поступившие в семинарию во время его ректуры, ничем не отличались от остальной «братии». А по приезде он ведь мечтал, как некогда приснопамятная царица Екатерина, чуть ли не о создании новой породы людей.

Другой протоиерей был иного типа. Ректором и протоиереем он сделался из статских советников, перей (Л. 65) дя в семинарию из смотрителей духовного училища¹⁹. Никакими талантами он не блистал. Близость к суровому архиерею и угодливость ему создали из порядочного смотрителя весьма неудачного ректора, как показала его последующая судьба. Среднего роста, довольно полный, с постоянно слезящимися хитрыми глазами, с вкрадчивыми манерами и походкой, с бесконечным повторением бессмысленных слов: «видите ли, да», он был в начале своей деятельности искусным дипломатом, умело лавировавшим между Сциллой семинарской жизни и Харибдой — тяжелой архиерейской властью. В непосредственно близкие сношения с учениками он и вступать не пытался, ограничиваясь управлением из кабинета. Как преподаватель Св[ященного] Писания был весьма далек от идеала. Его метод объяснения заключался в том, что он, окончив спрашивать посредственных учеников, поднимал кого-либо из лучших и предлагал читать следующую главу. Ученик читал и переводил прочитанное по-русски²⁰, а ректор по местам пытался давать объяснения, из которых наши уши ловили лишь бесконечное пересыпание его обычной (Л. 66) поговорки «видите ли, да». Долголетнее пребывание на высоком начальническом посту впоследствии, говорят, испортило его вконец. Он возгордился, встал во враждебные отношения с корпорацией и учениками и принужден был смириться, закончив свою карьеру уездным протоиереем.

Инспекторов, наблюдавших за нашим добронравием в течение семинарского курса, сменилось четверо. При нашем поступлении отживал в этой должности свои последние дни некогда гроза семинаристов протоиерей В., известный всей епархии под нелестным прозвищем «крыса». Он считался замечательнейшим сыщиком: от его острых, пронизывающих насквозь человека глаз редко могло укрыться что-либо противоречащее семинарскому укладу жизни. Ходил он бесшумными, быстрыми шагами и внезапностью своего появления поражал всех: казалось, вырос из земли. Ученики его страшно боялись. Но в первый год нашей семинарской жизни он сошел в могилу, не оставив заметного следа в наших личных воспоминаниях. (Л. 67) Его сменил инспектор-монах, страдавший запоями. Этот неглупый и весьма добродушный человек был враг всяких репрессий, и, если бы не ректор, семинаристам жилось бы при нем вольготно, так как благодушный о. Неофит предоставлял ученическую жизнь ее собственному течению. Время же проводил или за выпивкой, а в период трезвости писал какое-то сочинение, которое по духовно-цензурным условиям так и не увидело будто бы света. Конфликт с ректором прекратил его деятельность в Крутогорской семинарии.

Освободившееся место занял человек светский, пожелавший навести новые порядки в распущенной, по его мнению, монахом семинарии. Но из его порядков произошли крупные беспорядки, открывшие, можно сказать, эру последующих волнений, до сих пор не прекращающихся в Крутогорской семинарии. Его педагогические приемы были уже характеризованы в истории о похищении переписки и жестокой расправе с нашими «вредными элементами», говорившими ему в лицо правду. С всегда хмурым видом, с темными очками на носу, мексиканской улыбкой на губах, (Л. 68) уже внешним видом своим он производил тяжелое впечатление. С первой встречи с ним семинаристы почувствовали в нем недруга. И правда, подозрительность его была чрезвычайна, а справедливость весьма редка. Оскорбить ученика, подвергнуть его наказанию за какой-нибудь пустяк, за валяющуюся около парты бумажку было для него делом обычным. Всякие оправдания и объяснения наши в его глазах были грубостью.

История с письмами, сделавшаяся известной всей семинарии, возмутила учащихся и еще больше восстановила против него. А раздражительность и придирчивость его с каждым днем возрастала. Скоро вся семинария была по отношению к нему сплошным враждебным лагерем. Репрессии тем не менее усиливались. Наконец неорганизованное глухое недовольство стало выражаться вовне. Письма, посылаемые ему, где осуждалась его грубость, он игнорировал. В столовой стали появляться прокламации с призывом к борьбе против деспота. Особенно характерна была одна, написанная стихами, кончавшаяся извечными словами (Л. 69) мн Некрасова: «Порвалась цепь великая; // Порвалась и ударила // Одним концом по барину, // Другим по мужику». Действительно, «цепь» была натянута до последней степени: было достаточно малейшего толчка, чтоб она разорвалась. Инспектору все это было известно, но он с упорством, достойным лучшей участи, продолжал свою политику.

Незадолго пред разыгравшейся грозой ему еще раз было предупреждение. Однажды за вечерними занятиями он пришел в один из корпусов. Пробыв там с полчаса, он возвращается назад и в швейцарской не находит своей шляпы. Поднята была на розыски вся прислуга, но шляпы нет как нет. Уже потом по указанию знакомого с семинарскими нравами помощника инспектора потеря была найдена в «золотых россыпях». Такова была своеобразная ученическая месть. Более впечатлительные юноши, не выносившие (Л. 70) инспекторского гнета, вырабатывали уже более существенный план мести ненавистному инспектору, стремясь главным образом к тому, чтобы удар пришелся лишь «по барину». Было решено, воспользовавшись первою темною ночью, выбить в инспекторской квартире стекла²¹. Чтобы подозрение в стеклобитии не обрушилось на какой-нибудь один класс, было предположено раскрыть в эту ночь окна всех спален, находившихся в нижних этажах зданий, так как для безопасности местом выхода и возвращения в этом набеге должны быть окна, а не двери. В заговоре принимали участие человек десять представителей разных классов. Были выработаны все детали стеклобития: какие окна бить, во сколько часов, в какой обуви выходить и т. п. Но задуманному плану, в который посвящены были немногие, не суждено было осуществиться. Движение против инспектора вылилось в стихийную форму.

Вскоре случился престольный праздник²², отличавшийся всегда особенной приподнятостью настроения семинаристов вследствие обильных возлияний. Как будто нарочно архиерей, служивший обедню, в речи своей призывал нас к осуществлению любви, провозвестником (Л. 71) которой был воспоминаемый святой. День прошел чинно. Когда стемнело, семинаристы с шумом и песнями начали расхаживать толпами по двору. Это было уже нечто необычайное. Явившегося на ужин инспектора в столовой встретили стуком. Часов в 11 ночи половина семинарии снова была на улице. В толпе раздавались голоса, призывавшие к погрому инспекторской квартиры. Начальство, видевшее все происходящее на дворе из своих окон, было бессильно что-либо предпринять против волнующейся толпы.

Возбуждение тем временем росло. Вдруг в стороне инспекторской квартиры раздались характерные звуки разбитых стекол. По-видимому, их произвел удар камнем какого-нибудь смельчака, пробравшегося во мрак к инспекторскому помещению, когда толпа стояла еще в нерешительности. Эти неожиданные звуки наэлектризовали толпу. С невероятным шумом, гиканьем, криками: «Бей ему стекла!» толпа со всех сторон хлынула под инспекторские окна. Сотни камней посыпались в зал и кабинет инспектора. Через несколько мгновений не осталось ни одного целого стекла, и возбуждение как-то сразу пропало. Прежде сме (Л. 72) лая, неустрашимая толпа, казалось, в панике бежала обратно, к своим спальням.

Начальство уловило пониженное психическое настроение, и по горячим следам начался розыск. Розыску благоприятствовала погода: в момент стеклобития пошел дождь, так что по грязным сапогам можно было точно установить, кто в это время был на улице. Об этом догадались и ученики, и те, кто имел другую пару обуви, тотчас же поставили ее под койки, а не

имеющие стали старательно очищать свою от грязи. Через несколько минут в спальнях появился ректор с помощниками инспектора. Доселе шумевшие семинаристы сразу заснули мертвым сном. Ректор чуть не плачущим голосом читает лежачей аудитории какой-то выговор, а сопровождающая его инспекция лазит под койки и записывает тех, у кого оказалась грязной или сыроватой обувь.

Факт стеклобития, столь обычный в духовно-учебных заведениях теперь, в то время был явлением, о котором заговорила вся епархия. А местный епископ, человек крайне желчный и деспотичный, метал на нас громы и молнии. Дня чрез два после проис (Л. 73) шествия он лично явился в семинарию. Все мы предстали пред очи грозного владыки. Он, усевшись в кресло среди заль, каким-то надорванным голосом стал распекать нас. Святитель дал полную волю своему привыкшему к подобным речам языку. Протестов, конечно, не было. Абсолютно виноватыми в глазах его были одни ученики. Вникнуть в побуждения, приведшие нас к дикой выходке, он не желал. Досталось от него не только нам, молчаливым слушателям, но и родителям нашим. Разгоряченный архиерей разразился филиппикой против них за то, что они не умеют и не хотят воспитывать нас. Особенно странно было из уст его слышать последние слова, так как ни для кого не было секретом, что сын самого архиерея был известным всему городу кутилой и мотом. Был момент, что из задних рядов готовы были, кажется, напомнить об этом залетевшему слишком далеко в своих обличениях владыке. Пострадавший инспектор тотчас же уехал для объяснений в Петербург, а ко всем, у кого оказалась сырою обувь, предъявлено было обвинение в стеклобитии, (Л. 74) и многие из них, лично не бросившие ни одного камня, а лишь наблюдавшие сцену издали и смочившие свою обувь, должны были оставить семинарию. Изгнанников опять было несколько десятков.

Ценою многих жертв семинария избавилась от деспота-инспектора. И что всего поразительнее, этот ненавидимый учениками инспектор, по отзывам лично его знавших, был человеком хорошим. Впоследствии он довольно удачно выступил в литературе с повестями и рассказами из быта сельского духовенства, и псевдоним его известен теперь всей читающей публике. Не на месте, верно, человек прилагал свои силы, что часто случается у нас на Руси. Вместо него был прислан высокий, статный, с орлиным взглядом священник. Он был весьма даровитым человеком и выдающимся преподавателем. Его объяснения Евангелия заставляли в буквальном смысле заслушиваться учащихся. Как инспектор он действовал открыто и справедливо. Налагая на кого-либо взыскание, он умел довести ученика до полного сознания, вследствие чего наказание нимало не оскорбляло виноватого. (Л. 75) Его бдительный надзор тоже не вызывал против него озлобления. Как и все его предшественники, он не хотел понять наших стремлений к расширению знаний помимо того материала, какой предлагала семинарская наука и библиотека, и строго преследовал чтение «запрещенных» книг. Но падало ли это всецело на долю его личности или же было результатом семинарского режима — неизвестно. Служить ему пришлось недолго. Бодрым он был лишь

по внешности: его грудь разъедал туберкулез, и в расцвете сил неожиданно для многих он скончался.

Из числа многочисленных помощников инспектора выделяется Костромин. Он был в некотором роде достопримечательностью Крутогорской семинарии. Одно то, что он оставался в неблагодарной роли помощника инспектора более 20 лет, говорит многое. Как старый служака, он был ходячей справочной книгой о каждом ученике и каждого из нас знал, как говорится, и вдоль, и поперек. Все были уверены, что переменные инспектора в значительной мере пользовались его указаниями. А бывали в жизни семинарии моменты, когда его (Л. 76) можно было назвать в полном смысле главой внутренней семинарской жизни. Многолетняя практика развила в нем изумительного сыщика. В его дежурство весьма трудно было скрыться незамеченным подвыпившему семинару. Заедание чаем не могло спасти от Костромина: у него было собачье чутье, как выражались семинаристы.

Костромин был заведующим ученической библиотекой, которую передавал в полное распоряжение кому-либо из «благонадежных» учеников старших классов; лично в библиотеке появлялся редко. Новые книги имел обыкновение выдавать с своей квартиры, чтоб «читатели бережнее к ним относились». С квартиры же он давал нам и некоторые произведения современной литературы: В. Короленко, Мамина-Сибиряка, Салова и др[угих], сочинения которых по семинарским порядкам входили в index запрещенных книг. По внешнему виду он был суров; в обращениях с нами груб и своим всегда удачным сыском наводил страх и не пользовался расположением, напротив, всегда имел массу врагов. Даже за книгами на его квартиру многие избегали являться. Впрочем, здесь (Л. 77) он был значительно мягче, иногда беседовал с более развитыми учениками о литературе, искусстве и своими рассуждениями в этой области оставил доброе воспоминание. Этими вопросами он, видимо, интересовался. На стенах и на письменном столе его холостой квартиры, всегда пропитанной табачным дымом, мы видели портреты писателей, произведениям которых не были открыты шкафы семинарской библиотеки, свидетельствующие, что душа этого грубого до дерзости воспитателя была не совсем же такою, какой представлялась большинству.

Об остальных сотрудниках инспектора сохранилось смутное представление. Все они более или менее подвизались по части сыска и редко пользовались расположением семинаристов. А благодаря тому, что им приходилось быть какими-то служками инспектора, редкие из них засиживались более двух лет в этой должности. Лишь Костромин сумел создать себе независимое положение и, казалось, был расположен до конца живота своего оставаться в Крутогорской семинарии. Постепенная смена его коллег давала (Л. 78) ему право сравнивать семинарию с постоянным двором, в который проезжие заезжают лишь на час. Ученики же, слыша от него это сравнение, в душе называли его бессменным содержателем этого двора.

Состав преподавателей за шесть лет обновился несколько раз. Галерея всевозможных типов прошла пред нами. Вот преподаватель «философских

наук», в полном смысле «футлярный» человек²³. В глубоких карманах его фрака каким-то непонятным образом незаметно умещались и логика Светилина, и философия Кудрявцева, педагогика Тихомирова и какие[-то] порывавшие от времени записки по психологии. Смотря по уроку, извлекалась на свет та или иная книга, по которой он следил за нашими ответами и которую слово в слово торопливо читал нам вместо объяснения следующих отделов. Его привязанность к книге переходила всякие пределы. Лучшие ответы наши, но отступавшие от книги, он всегда перебивал замечаниями: «Нет уж, вы лучше по книжке, по книжке: лучше книжки ведь не скажете!» — и при этом характерным жестом руки поглаживал свою длинную рыжую (Л. 79) бороду. Несколько оживлялся он лишь на уроках психологии, а «семинарская философия» в его преподавании казалась нам каким-то кошмаром, давившим нас своею тяжестью — бессмысленной зубрежкой. У этого педагога было все размерено. Судя по разметкам в старых учебниках, число страниц к уроку у него ежегодно было одинаково, хотя степень развития различных курсов была иной раз весьма различна. Некоторые из товарищей пред Петиним уроком (так звали учителя) предсказывали: «Сегодня “Петя” будет смеяться», «Сегодня сойдет в половине урока с кафедры», и предсказания в точности сбывались, так как на полях учебников руками наших предшественников делались заметки об этих «необычайных» событиях.

Зубрить наизусть неудобоваримые учебники было выше сил многих из нас, и большинство при ответах пускалось на хитрости. Пользуясь постоянным пребыванием Пети на кафедре, обладающие хорошим зрением читали по книжке с соседней парты, а иногда по общему решению отодвигали кафедру насколько можно дальше от парт, чтобы он не мог слышать помощи (Л. 80) соседей. Но эта уловка удавалась не часто. При входе в класс он замечал произведенное передвижение и, улыбаясь, обращался к нам своим тягучим тенорком: «А кафедра-то далековат. Мы ведь с вами редко видаемся — давайте-ка omnibus viribus²⁴ водворим ее на место: и вам меня будет виднее, и мне веселее». Эта фраза повторялась неизменно по нескольку раз в год. Чтение по книге тоже не всегда оканчивалось благополучно.

Никогда не забудется один курьезнейший факт. Разбирали теорию трансформации. В подстрочном примечании учебника упоминались в качестве довода к чему-то свидетельства двух ученых: Карстена и Фарадея. Товарищ, порядочно отвечавший то, что было над строкой, был поставлен в тупик, когда дошел до этого примечания: мелкий шрифт разобрать не мог. А Петя спрашивает: «Какие же ученые свидетельствуют?» Напрягая все зрение, ученик выпаливает: «Коростель и Фадей». В классе, следившем за процессом ответа, гомерический хохот. Учитель понял, в чем дело, и со словами: «А, у вас там уже коростели появились — довольно с вас!» — посадил отвечающего. (Л. 81) Ученики не упускали случая посмеяться над Петей, и даже о лошади его, на которой он ездил в семинарию, были сложены стихи, из которых припоминается четырехстишие: «Петин конь уж умирает // С малой порции овса. // На все ноги он хромает, // Пробежав квартала два».

Другой, высокий, полный мужчина с вечно кислой физиономией, был страшным трусом: начальства боялся как огня. Много неприятных минут доставляли ему его собственные записки — толкование на Книгу Иова. Духовно-учебное начальство будто бы строго запрещало учителям давать для руководства ученикам какие бы то ни было собственные непечатные труды. Цели подобного распоряжения неизвестны. Официально оно объяснялось желанием не затруднять сверх меры учащихся, но вполне естественно и другое предположение: чтобы своими писаниями педагоги-вольнодумцы не вложили в головы семинаристов каких-либо «вредных идей». От этих «идей» нас хотели оградить чуть ли не китайской стеной. Властный ректор строго наблю (Л. 82) дал за исполнением этого распоряжения. Но наш Коля не мог, по-видимому, выносить учебника, рекомендованного начальством, и ежегодно предлагал ученикам свои не блещущие научной эрудицией, простенькие записки. Выпустить их в свет было его мечтой, но по своей нерешительности отважиться на это он не мог и год из года, по его выражению, «обрабатывал» их, а вернее, переписывал, заменяя одно выражение другим. Лишь единственная классическая фраза его труда, которую он произносил [с] какой-то особенной интонацией («Иову неизвестна была причина его страданий, но сетования его показывают») оставалась неизменной во всех редакциях.

Бывало, ученики захотят напугать Колю, и лишь развернет он свои манускрипты, как с задних парт раздастся негромкий голос: «Ректор идет!» Услышав это, Коля нервно схватывает записки и спрашивает: «Где?» А если, напр[имер], швейцар постучится за уроком в дверь, вызывая экстренно какого-нибудь ученика, то трусливый «Коля» прежде всего прячет свои труды в карман, предполагая (Л. 83) в виновнике стука не скромного солдата, а какое-либо начальство. Раз во время занятий в семинарии приехал архиерей и прямо прошел на урок этого педагога. Коля, конечно, вне себя от волнения. Ищет в журнале фамилии лучших учеников, чтоб не сконфузиться пред «владыкой», и вызывает первого попавшегося. А этот был спрошен лишь в предыдущий урок и, не думая о вызове на сегодня, не готовился и, конечно, блистательно провалился. Учитель еще более растерялся. Вызывает другого — та же история, и только третий выручил его. Этой обиды своим «предателям» он долго не мог простить и даже на чужих экзаменах при самых блестящих ответах «срезавших» его учеников не ставил им выше четырех. Например, на экзамене истории преподаватель просит его прибавить, уверяя, что это лучшие историки в классе. «Историки да жулики», — заявляет Коля и остается при своем балле.

Не меньшими странностями отличался наш литургист и гомилет²⁵. В наше время он пил до (Л. 84) белой горячки и у него замечались очевидные ненормальности. А в первые годы своей службы это будто бы был увлекательнейшим и самым живым преподавателем^а. Нам он уроков ни-

^а Так в рукописи.

когда не объяснял, а бурчал себе под нос какие-то никому не понятные звуки. Ответы выслушивал молча и требовал, чтобы в его присутствии соблюдалась полнейшая тишина: малейшее движение, даже кашель выводили его из себя. А так как к ответам он был снисходителен, то ученики старались его не раздражать, и все страдающие, напр[имер], кашлем для общего блага оставляли класс за уроком литургии. Впоследствии, говорят, мания подозрительности, осложнившаяся телесным недугом, свела его в могилу.

Видное место в кругу семинарских наук занимало богословие, подразделяющееся на догматическое, основное, нравственное и обличительное. Ему нас обучал молодой человек, всегда щеголеватый, с подкрученными в иголочку усами, внешним видом напоминавший скорее какого-то фата, а не насадителя богословских познаний в сердце будущих пастырей. Его все мы называли уменьшительным именем «Мишка». (Л. 85) Предмет свой он знал; старался оживить убийственные до мертвенности учебники Макария²⁶ и Покровского²⁷, но был в высшей степени требователен и к текстам, которыми полны учебники, и к дополнениям, которые он нам часто диктовал. Но в его подчас блестящих уроках не хватало самого главного — жизни, искренности, собственного увлечения тем, о чем он много и красиво говорил. За малейшую ошибку он нещадно бил нас единицами. Система его спрашиваний заглашала в нас всякий интерес к наукам. Приходилось, напр[имер], слышать, как он, подняв ученика, говорит: «Читай: змий же бе мудрейший» (т. е. страницу из Библии об искушении праотцев) или: «Читай: истинствующе в любви» (один из самых непонятных на славянском языке текстов, в котором апостол говорит о Церкви). И вот взрослый уже юноша, иной раз как попугай, бормочет без всякого выражения заученные слова, и преподаватель доволен. Нам этот педагог всегда казался добросовестным работником двадцатого числа²⁸. Мы знали тексты, знали его записки, но высоты и красоты учения Христова не понимали. Кроме настроения учителя в этом были (Л. 86) виноваты, конечно, и пропитанные плесенью схоластики учебные руководства, предлагаемые нам для знакомства с основными истинами христианства.

Одной из нелепейших наук семинарского курса было «обличение раскола». Даже назвать «обличение» наукой в истинном смысле этого слова как-то стеснительно, едва ли на это решится какой-либо здравомыслящий человек: к нему неприложима никакая научная методология. Это какая-то расплывчатая туманность «без меры в длину, без конца в ширину». Целью своей оно имело дать будущим священникам руководство для борьбы со старообрядчеством. Ради этого наши головы набивались массой выдержек из разных «Кирилловых» и «О вере» книг. Маленький шарообразный преподаватель «обличения» требовал заучивать нумерацию страниц, на которых начертано имя не «Исус», а «Иисус», говорится не о двуперстии, а троеперстии, и т. п. Практического значения такой метод обличения не имел ровно никакого, так как обнять все необъятное содержание уважаемых старообрядцами книг в пределах учебника было невозможно. При первой же беседе с приверженцами старых обрядов полемист, много мечтавший в семинарии

о сво (Л. 87) их знаниях по расколоведению, каким-нибудь простецом-начетчиком припирался, как говорится, к стене массою неизвестных еще ему свидетельств по затронутому вопросу и, не желая в будущем переживать тяжелые минуты, должен был знакомиться со старообрядчеством вновь уже так, как требовала жизнь.

Личность преподавателя библейской и церковной истории Ивана Мерцаева заставляла бледнеть всех доселе описанных педагогов. На фоне семинарской жизни он был каким-то ужасным «апокалипсическим зверем». Если бы не его сравнительно молодой возраст, можно бы было подумать, что он перенесен в семинарскую обстановку, миновав лет тридцать, из бурсы Помяловского. От педагогов той памятной эпохи он отличался разве тем, что не прибегал по условиям времени к телесным наказаниям, зато едва ли испытывали от своих учителей бурсаки Помяловского те нравственные пытки, каким он подвергал нас. Реки слез были пролиты глубоко оскорбляемыми им юношами, тысячи проклятий раздавались по адресу этого грубого, бессердечно-жестокое педагога. И он, умевший ладить с начальством и заставлявший учеников (Л. 88) забывать ради своей науки все другие предметы, оставался бичом крутогорских семинаристов чуть ли не двадцать лет. Еще в первые годы его службы какой-то семинарский пиита всю тяжесть мерцаевских отношений к ученикам описал в весьма по местам остроумной поэме «Иваниада». Она передавалась из рода в род. Это произведение семинарской музыки начиналось следующими, вылившимися из глубины большого сердца поэта стихами: «О как блаженны наши предки! // Блаженны деды и отцы, // Что многим прежде нас родились // И у Ивана не учились!» Своей жестокостью этот учитель был известен всей епархии, семинаристы всех возрастов перед ним трепетали. Недоставало лишь того, чтобы сельские дьячихи и матушки пугали именем его своих малолетков, будущих учеников этого грозного педагога.

Его знакомство с семинаристами начиналось во втором классе и продолжалось до шестого. Раньше этого нам приходилось лишь издали созерцать его осанистую фигуру, скуластую физиономию с злыми серыми глазами (Л. 89) и лакейской бородой, расчесанной на две стороны. Припоминается его первый урок в нашем классе. Нервы наши были настолько напряжены пред его приходом, что у многих выступал холодный пот и начинались приступы лихорадки. После звонка оживленно доселе шумевший класс вдруг смолк. Через несколько минут раздаются в коридоре тяжелые шаги семинарской «грозы» и он с отпечатком отталкивающего самодовольства на лице величественно входит в класс, также величественно садится на кафедру, ему одному свойственным жестом берет перо, брезгливо осматривает его и что-то пишет в журнале. Затем начинается личное знакомство — переключка по алфавиту. Своим свирепым взглядом он мерирует каждого поднявшегося и спрашивает: «Из какого училища?» Некоторые из училищ почему-то не пользовались его расположением. В наше время под опалой у него было Оковское духовное училище. Желая, напр[имер], уязвить самолюбие ученика, дающего плохой ответ, он не

раз любил повторять: «Не в семинарии бы тебе, полупочтенный, учиться, а сидеть бы еще на задней парте (Л. 90) в Оковском училище». Бледные, трепещущие товарищи при вызове своей фамилии поднимаются, отвешивают поклон и, назвав училище, садятся.

Но вот переключка кончена. Начинается объяснение по совершенно лишней в курсе семинарии «библейской истории». Предмет первого урока — повествование о творении мира. «Мир, рассматриваемый во всей его внешней красоте и внутренней гармонии,— наизусть, слово в слово по книжке Лопухина²⁹, отчеканивает Иван,— представляет» и т. д. Минут двадцать сыплются какие-то жесткие слова из уст этого черствого человека. Наконец рассказ кончен, кончено и повторение. Ученики сидят как изваяния. Непривычные позы до изнеможения утомили всех. Благодетельный звонок выводит из оцепенения. Первый урок сошел благополучно, все вздохнули свободно и стали делиться впечатлениями.

Требовательность Ивана доходила до невозможных пределов. Достаточно было не сказать, в чем выразился поэтический талант внука Ноева Ламеха (!) или когда был всемирный потоп, в каком году были отрублены три пальца Иосафата Кущевича, как за удач (Л. 91) ный в других отношениях ответ в журнал вписывался жирнейший кол. Иной раз благополучно сойдет весь устный ответ, но все же считать себя безопасным от кола нельзя: начинается «гонение» по карте. И единицей награждается тот, кто не показал какого-нибудь Арелата или Севостии. Знали его предмет крутогорские семинаристы изумительно. Некоторые[е] доходили до того, что, не ошибаясь, могли сказать, на какой строке и какой страницы рассказывается о том или ином факте.

С его неумолимой требовательностью, пожалуй, мирились бы еще семинары, но у Ивана были еще другие качества, которые заставляли искренне ненавидеть его. Ивану никак не приходило в голову, что в забытых существах, молчаливо выслушивающих все его унижительные оскорбления, не было заглушено вконец чувство самоуважения. Для него личность воспитанника не заслуживала ничего, кроме презрения. «Болван», «ослиная голова, набитая сенной трухой вместо мозгов» — это были обычные эпитеты, какими ежедневно награждал нас наставник. Мало того, он позволял даже во время уроков задевать честь наших (Л. 92) родителей и дальних и ближних родственников. Прослужив в семинарии много лет, он знал всю епархию, собирал всякие сплетни: ему было известно, кто пьет, кто богат, кто любит лошадей, кто и с кого берет взятки, и т. п. И вот не понравится ему ответ ученика, и от урока ни с того ни с сего он переходит совсем к другому. В самом оскорбительном тоне начинает говорить об отце, матери, братьях, сестрах и других родственниках отвечающего. Другого названия тому сану, к которому готовились учащиеся, как «поп», у него не было.

Насмешки над учениками доставляли ему какое-то наслаждение. Доставалось одинаково от него и сыновьям бедных сельских просвирен, и богатого соборного духовенства, живущего, по его выражению, под большими

колоколами и жиреющего от ежегодных тасканий по епархии то с архиереем, то с иконами. Особенно же он не выносил «инословных»^а. Сына, напр[имер], одного врача своими издевательскими над отцом раз он чуть было (Л. 93) не довел до истерики. Даже самые обычные факты, вроде выхода из класса во время его урока, были пытками для учеников. В таких случаях он доходил до цинизма. В младших классах на этой почве развился своего рода спорт. За трехкопечную булку некоторые не особенно обидчивые люди решались отпрашиваться за уроками Мерцаева. И он, натешившись над ними вдоволь, давал им возможность выиграть пари. Отпуская то и дело какие-нибудь «ослоты», он готов был, кажется, считать себя остроумным. А это остроумие вроде: «Что это ты разинул рот, как потолок?», «Масло бы тебе по приходу собирать, а не в классе сидеть» — ничего, кроме улыбки сожаления, у нас не вызывало. «Подпирай иди угол!» было обычной фразой Мерцаева, когда он замечал, что какой-нибудь ученик рассеян или не отвечает на его вопрос. «Подпирание угла», т. е. расстановка учеников по углам класса, а когда их не хватало, около стен, было любимым развлечением Ивана. Расставивши таким образом добрый десяток, наставник самодовольно разгуливает по классу, время от времени отпуская по адресу одного или другого какие-нибудь колкости. «Ну что тебе учиться, болван, без учения проживешь. Твой сват ведь с архиереем по епар (Л. 94) хитаскается; денег ведь нагребил: поделится с тобой», — говорил он раз одному товарищу. И такой педагог благодаря указанным качествам в течение двух десятилетий как злой рок тяготел над ученическими головами. Всякого, кто почему бы то ни было попадал к нему в немилость, Иван выдворял из семинарии своими постоянными «прижимками». Этих, как выражались, «съеденных» Иваном семинаристов было, вероятно, весьма изрядное количество в течение его многолетней службы. «Добрым словом» вспоминают его все крутогорские семинаристы.

Значительная часть учебного времени в семинарском курсе отводилась древним языкам. Из училищ мы приезжали лишь с запасом грамматических знаний; здесь нас знакомили с авторами: Ксенофонтом, Цезарем, Гомером и Вергилием и, наконец, св[ятыми] отцами. Но изучение языков в наше время клонилось уж к упадку. Времена, когда семинаристы разговаривали по-латыни, уже давным-давно кончились. И чем дальше мы учились, тем более и более уменьшались наши познания в классицизме, и какой-нибудь богослов (Л. 95) не без труда, пожалуй, перевел бы фразу, вроде: «Pater rector, date nobis recreationem»³⁰, которая не в столь отдаленные времена была знакома и любезна сердцу каждого «приготовишки». Семинарский классицизм наконец настолько надоедал, что раз был такой случай. При переходе в шестой класс один богослов пригвоздил греческую и латинскую грамматику к парте во избежание соблазна когда-нибудь взглянуть в них.

^а Подстрочное примечание: Под этим термином известны были семинаристы недуховного происхождения. Их и по уставу семинарскому лишь терпели здесь. При приеме их в духовно-учебные заведения к ним применялись те же ограничения, как к детям евреев в учебных заведениях Мин[истерства] нар[одного] просв[ещения]: прием ограничивался 10%.

Заго некоторые из преподавателей этих предметов оставили весьма добрую память. Вот добрый, доступный, по внешнему виду похожий на библейского патриарха преподаватель латинского языка Алексей Алексеевич Шаров. Любимым занятием его было спрашивание фраз на разные синтаксические правила. Фразы эти у него повторялись из года в год, и у учеников они были записаны, так что не представляли для нас никакого труда. «Цезарь воевал на суше и на море — как сказать по латыни? — Редькин Семен», — бывало, обращается добродушный учитель. И Ал[ексей] Ал[ексеевич] удовлетворялся лишь тогда, когда Семен отчетливо произносил: «Terre patrique»³¹.

От сухой латыни своей он часто отвлекался. (Л. 96) Он много говорил с нами о горестях и радостях пастырской деятельности, беседовал о народной жизни и учил служить народу. Перевод, напр[имер], Вергилиевых метаморфоз давал ему богатый материал для бесед. Он вспоминал тут и далекое детство, родную ему Сибирь, тысячевестные путешествия от бursы домой, остановки в деревнях, в которых встречались типы, подобные античным Филемону и Бавкиде³². Вырос он у подножия дикого, сказочно роскошного Алтая и с детства страстно любил природу; любовь к ней стремился внушить и нам увлекательными рассказами о своей чудной родине, из которой он был против желания вырван и послан в Европейскую Россию³.

(Л. 95а) Раз из уст Алек[сея] Алек[сеевича] нам пришлось выслушать повесть, характеризующую печальное положение наших педагогов. Однажды, когда Ал[ексей] Ал[ексеевич], отложив в сторону латинскую книжку, начал свою обычную беседу, кто-то из товарищей спросил его: «Алексей Алексеевич, скажите нам, пожалуйста, почему вы избрали для преподавания латынь, а не другой предмет?» «Друг мой, — отвечал на это наш учитель, — да разве мы вольны заниматься тем, к чему лежит душа? Мы ведь люди казенные, рабы центрального управления, в веденье которого поступаем тотчас по окончании курса. Нас никогда не спрашивают, что желаем мы преподавать, а освобождается вакансия — ее и замещают. Отсюда сплошь и рядом получают невероятные явления: уроженец юга отправляется в Соликамск, житель Сибири назначается на Кавказ; занимав (Л. 95б) шийся философией попадает на арифметику, интересовавшийся историей всю жизнь тянет ляжку учителя какого-нибудь классического языка и т. п. Переменить предмет, конечно, можно, но представится ли удобный случай — вопрос. Мне известен, напр[имер], один молодой кандидат академии, который за время своей академической жизни страстно интересовался литературой. Достиг в этой области солидных результатов: кроме родной литературы он в подлинниках ознакомился с многими классическими произведениями немецкой и французской. Академия оценила его знания по этому предмету высшим баллом. И что же? Его назначают на географию в глухой уездный городок. Он лично едет в Петербург, хлопочет о перемене места, но петербургские канцелярии

³ Далее следуют два вставных листа без нумерации.

неумолимы. Один из власть имеющих чиновников на его мольбы ответил так: «Не волнуйтесь, молодой человек, а поезжайте, куда Вас назначили: вы ведь казенный (Л. 956 об.) стипендиат³³, а они у нас вот где», при этом многозначительно сжал кулак. Так и уехал. Что с ним будет там — не знаю. Сначала, конечно, поволнуется, а там убогая жизненная обстановка заглушит умственные запросы; глядишь, и нет «живого» человека. Да, друзья мои, жизнь тяжела, нужна большая энергия, чтоб быть господином ее, а не жалким рабом. А многие ли способны на это? К сожалению, единицы. Воля наша парализуется в юности: безвольные, слабые, мы выходим еще из школы. Как бы я не желал, чтоб и с вами повторилось что-либо подобное!»

(Л. 96) В поэтическом семинарском произведении, известном под названием «Попурри из русских песен», в котором изображались наши учителя, этому старцу были посвящены следующие, близкие к идиллии, строки: «Классик наш — Шаров почтенный // О Сибири все грустит; // В месяц раз он непременно // Нам о ней поговорит. // (Л. 97) Тяжело ему здесь очень, // Грусть не может разогнать. // Стонет сизый голубочек, // Стонет он и день и ночь». Больной, за несколько недель до смерти, он все еще ходил в класс и здесь часто говорил: «Вот будете священниками — молитесь за меня», и на его надгробном памятнике вырезана надпись: «Помнят ли мои бывшие ученики просьбу молиться обо мне?» Юношество, не раз досаждавшее ему, но всегда понимавшее его благородную, чистую душу, с неподдельной скорбью провожало его до могилы.

С именем Ал[ексея] Ал[ексеевича] вспоминается один характеризующий отчасти этого человека случай. Он был, между прочим, любитель пения и поклонник «октав». Этой слабостью его пользовались иной раз ученики. Сделается, напр[имер], известно, что А[лексей] А[лексеевич] не в духе, тотчас же на самого громоподобного баса возлагается обязанность читать молитву. С недовольным лицом входит Ал[ексей] Ал[ексеевич] в класс. Бас, превосходящий в данном случае себя, «гудит» молитву. Лицо старца заметно проясняется. Он спокойно кладет на кафедру журнал (Л. 98) и, обращаясь к классу, с улыбкой спрашивает: «Кто это читал молитву?» «Поливанов, Алексей Алексеевич!» — раздается чуть ли не со всех парт. «Славный голосок», — уже совсем благодушно произносит учитель. «У него наследственный, — кричат семинаристы, всегда желающие оттянуть минуту-другую от урока, — у его папаши прекрасный бас, а дедушка в архиерейском хоре при Павлине октавой пел». «Хороший голос, хороший и у него; беречь лишь его надо», — продолжает Ал[ексей] Ал[ексеевич]. Ученики, видя, что мрачное настроение его рассеялось, продолжают свою проделку. «А прабабушка у него дискантом пела, А[лексей] А[лексеевич],» — выкрикивает кто-нибудь с «камчатки». Педагог, заметив не в меру завравшегося ученика, вызывает его фамилию. «А какой у вас сегодня голос, г. Поликарпов? Отвечайте-ка урок!»

В первый период нашей вполне сознательной жизни, когда мы были в старших классах, на очень ко (Л. 99) роткое время являлся в Крутогорскую семинарию еще преподаватель, имя которого навсегда будет живо в памяти его учеников. Он руководил нашими занятиями в образцовой школе³⁴

и преподавал методику обучения. Это был знаток своего дела, посвящавший ему все свои досуги. В наших глазах он окружил народную школу ореолом святости, величия; вдохнул [в] нас нравственные силы, и некоторые из учеников его уже второй десяток лет не покладая рук служат делу просвещения в скромных сельских школах. Но и он преждевременно сошел в могилу. Мир праху вашему, «наставники-люди»!

(Л. 100) Глава третья

Умственная жизнь. Семинарские программы. Пасхалия. Охрана от «вредных» книг и идей. Кружок самообразования. Наши журналы. Их борьба и гибель. Возрождение. Научные диспуты. Библиотека и ее развитие. «Повальные» обыски. Гонения на библиотеку. Услуга фельдшера. Мы женихи. Архиерейские именины. Заключение.

До сих пор были описаны лишь внешние условия семинарской жизни, испытать которые приходилось всем учащимся. Но помимо их у каждого класса была особенная, так сказать индивидуальная, жизнь, характер которой определялся степенью умственного развития и преобладающими наклонностями товарищей. В массе подростков, образовавших наш курс, были всевозможные типы. Преобладали, однако, бурсак в духе времен Помяловского. Но встречались и такие, которые более или менее правильно могли ориентироваться в окружающей обстановке, пытались уже ставить (Л. 101) себе определенные задачи и стремиться выполнить их. Это были лица, составившие впоследствии культурный центр нашего класса, к которому примкнуло потом большинство. Этим лиц соединяло общее и искреннее стремление к самообразованию. Пределы семинарских учебников не удовлетворяли их и не могли удовлетворить. Самые живые науки семинарского курса «подносились» в далеко не удовлетворяющем юношество виде. Взять хотя бы родную литературу. Мы долго и пространно изучали проповеди Луки Жидяты, Кирилла Туровского, произведения «славного» Тредьяковского, драмы Сумарокова и многие подобные перлы русского творчества и кончали знакомство с ней пушкинским периодом. Время же блестящего расцвета нашей литературы, период, создавший новые общественные течения, давший Толстого, Тургенева, Достоевского, Белинского, Добролюбова, Чернышевского и других «бессмертных» представителей русского слова, был официально недоступен нам.

Чтобы закрыть выход семинаристов в высшие учебные заведения, в наше время сократили и математику. О логарифмах и тригонометрии мы не имели ровно (Л. 102) никакого понятия, а вместо этого нам предлагали бесполезнейшую из наук, едва ли известную светскому обществу. Имя ей пасхалия; в ней сообщались все научные выкладки, каким образом вычислять время празднования Пасхи для прошедших и будущих лет. У самого преподавателя наука эта вызывала улыбку, и на вопрос, зачем нам нужна пасхалия, когда все сообщаемые ею сведения имеются в пяточковых календарях, он откровенно сознавался: «А чтобы вы тригонометрии не знали». И вот еженедельно в третьем классе часовой урок мы упражнялись

в решении весьма разумных задач: «Какого числа и месяца была Пасха в 1111 году или будет в 9999?»

Семинарский устав и исполнители его строго следили за тем, чтобы как-нибудь к нам не проник элемент так называемой светскости. Наши начальники строго стремились всеми мерами оградить нас от того, что могло заставить нас критически отнестись к семинарии, и к той жизненной обстановке, в которой живет «духовный мир»; стремились выработать из нас послушных овец, спокойно принимающих за дела своих отцов. (Л. 103) Небурсацкие манеры и не мешком сидящее платье ученика внушали уже начальству подозрение в нерасположении данного субъекта к духовному званию. Но все стремления в этом направлении, также как попытки оградить нас от табакокурения, карт, служения веселому богу Бахусу, были тщетны. Китайскую стену, защищавшую бы нас от внешних влияний, создать было невозможно. Наш возраст, пробуждавшееся стремление к свету, знанию брали верх, и семинарская жизнь всем строем своим весьма ясно подтверждала пословицу: «Гони природу в дверь — она влезет в окно».

Наше запретное чтение началось с книжек «Недели», издаваемой тогда Гайдсбургвым отцом. Их нам давали знакомые любители чтения из старших классов. Старшие в этом отношении играли видную роль в нашей жизни. То за чаем в столовой, то за прогулкой по обширному семинарскому двору мы разговаривали с ними, и мало-помалу наш умственный кругозор расширялся, и уже со второго класса в деле самообразования у нас начала проявляться самостоятельность. Среди товарищей образовался кружок, задав (Л. 104) шийся образовательными целями. У членов его возникла мысль испробовать свои литературные силы: в одном отделении стал издаваться двухнедельный журнал «Семинарист». В нем помещались рассказы, сцены, стихотворения, известия из жизни семинарии и т. п. Говорить о литературных достоинствах издания излишне: они были весьма слабы. В рассказах, помню, преобладало сентиментально-романтическое направление.

По какому-то поводу в редакции произошел раскол, и литературные силы второго отделения решили издавать свой орган. Его назвали «Товарищ». Журналы работали параллельно. Вначале между ними проявлялась полная корректность. Но вскоре мирные отношения сменились воинственными. Дело в том, что в «Семинаристе» бойкое перо какого-то литературного публициста весьма иной раз язвительно «продергивало» некоторые из произведений «Товарища». Началась борьба. В «Товарище» тоже появился критический отдел, все свои силы изошрявший на то, чтобы «разделать» литературу воинствующего «Семинариста». Дошло до того, что наши публицисты, не удовлетворяясь (Л. 105) разбором содержания журналов, позволяли злобные выходки по поводу каких-нибудь ничтожных дефектов в заглавиях изданий. Критик «Товарища», напр[имер], пишет, что буквы заглавия «Семинариста» так причудливо расставлены, что напоминают фигуры «пишущих “мыслете”» семинаристов, а отсюда переходит к обличению в нетрезвости и внутреннего содержания. Литературный критик «Семинариста» не остается в долгу и свой отдел в следующем номере начинает

приблизительно так: «Читатели “Товарища”, конечно, не оставили без внимания, что “ь” в заглавии этого журнала уже давно стал весьма напоминать инспекторского индюка. Этот “ерь”, похожий на индюка, является символом редакции его», и т. д.

В этой взаимной борьбе и погибли наши первые журналы, выпустившие не более как по десятку №№. Они переписывались в формате in quarto, объем их достигал иногда листов пяти и более. Первая страница их была украшена виньеткой. Подписка принималась двух родов: одна для прочтения журнала, другая — в собственность. Первая была коп[еек] 15 в месяц, вторая же должна была оплачивать стоимость переписки. Сотрудники работали бесплатно: они лишь делили между собой прочитанные номера. (Л. 106) При всей скудости внутреннего содержания эти воинствовавшие журналы не прошли бесследно в развитии нашего класса. Они послужили примером для последующих, уже более совершенных начинаний в этом направлении.

В дальнейшие годы стал издаваться у нас журнал «Эхо». Редакция, объясняя в передовой статье название журнала, говорила о том, что он будет отражением всех заметных явлений общественной жизни и отведет значительное место изображению внутренней семинарской жизни. Действительно, «Эхо» было значительно серьезнее и по своей литературе, и публицистике. В каждом классе семинарии были корреспонденты, освещавшие весьма подробно внутреннюю жизнь семинаристов, действия учителей и начальства. В «Эхо», например, была рассказана возмутительная история, происшедшая на уроке словесности в младшем классе. Учитель, ранее не пользовавшийся репутацией педагога-самодура, за какую-то «провинность» заставил ученика простоять на коленях вблизи его кафедры почти целый час.

Этот факт был из ряда выходящим. До таких бурсацких наказаний не доходил даже знаменитый Иван. Прежде терпимый преподава (Л. 107) тель заклеямен был позором и вскоре после происшествия оставил семинарию. В нескольких номерах этого журнала помещалась, помню, довольно обстоятельная статья о значении монашества в жизни России, вызвавшая весьма оживленный обмен мнений на страницах «Эхо». Большинство авторов рассматривало монашество как факт религиозной жизни, имевший лишь историческое значение, и совершенно отрицательно относились к нему в настоящем его виде, подтверждая свои доводы фактами, ясно иллюстрировавшими «подвиги» современных иноков, потерявших всякое оправдание своего существования. Этот же журнал бросил первые зерна недовольства мелочной придирчивостью и деспотизмом инспектора, в квартире которого были «выставлены» потом стекла. В нем появлялись нередко сообщения из других семинарий, всегда весьма интересовавшие читателей. «Эхо» погибло вместе с редактором. Им был тот самый товарищ, который от лица класса изобличал нечестное поведение инспектора в известном деле о захваченной переписке.

(Л. 108) Время издания «Эхо» было самым живым моментом нашей семинарской жизни. Под влиянием знакомства с семинарской философией, физикой, а главным образом «запретного» чтения в нашем мозгу закопошилась масса вопросов по разным областям знания, на которые мы с жадностью искали

ответов. Запросы эти столкнулись с нашими традиционными представлениями, верованиями. Началась мучительная умственная борьба, время сомнений и скептицизма, период переоценки ценностей. Каких-нибудь руководителей, авторитетов, направлявших бы нас в определенное русло, не было. Да и едва ли склонны были мы подчиняться и признавать их в эти минуты нашего развития. В нашей среде начался оживленный обмен мыслей, горячие, доходящие почти до личной вражды споры. Особенно сильное возбуждение в наших умах произвело знакомство с эволюционной теорией. Сочинениями Дарвина и популярными брошюрами, относящимися к эволюционизму, мы (Л. 109) зачитывались. Незрелые умы относились к этому вопросу различно. Многие никак не могли примириться с последними выводами дарвинизма. Не раз в присутствии почти всего класса устраивались диспуты антидарвинистов с дарвинистами. К прениям готовились: штудировалась подходящая литература. Самые диспуты происходили обыкновенно в свободное время в учительской комнате, где за длинным столом один против другого рассуживались диспутанты. Публика размещалась кругом. Ораторы, исчерпавши все доводы, горячились, кричали до иступления. Публика была тоже далеко не безучастна к спорам: она горячо поддерживала своих лидеров. В этих спорах до сих пор памяты фигуры двух товарищей. Один, великан, размахивая чрез стол своими длинными руками, готовыми, казалось, повредить физиономию противника, громовым голосом старался «разбить» теорию, а другой, небольшого роста, с в[с]клокоченными волосами, фальцетом до хрипоты доказывал ее полнейшую обоснованность. Но было уже известно вперед, что убедить друг друга им не удастся.

(Л. 110) Чрез год опять было зарождалась мысль об издании журнала; предполагалось даже значительно расширить его программу. Решено было придать ему форму, которая могла бы заинтересовать и соседние семинарии, из которых обещано было уже сотрудничество. Все было налажено, как разражается «стеклобитие», кончившееся весьма печально для воспитанников. Из нашей среды было вырвано еще несколько энергичных, умных товарищей. Общее настроение под влиянием репрессий понизилось, и мысль об издании была оставлена, так как подобное дело с точки зрения начальства считалось преступлением, достойным изгнания. А в той постановке журнала, какую мы проектировали ему дать, наш скромный журнальчик мог быть приравнен к так называемой подпольной литературе, и, Бог знает, что бы из этого могло выйти.

Кружок для самообразования с каждым годом привлекал себе новых членов. Книгами, случайно попадавшими от старших, перестали ограничиваться. Стали появляться общие абонементы на книги публичной библиотеки. Но посещать эту библиотеку было в высшей степени опасно: можно было при входе или выходе из нее натолкнуться случайно на члена инспекции и подвергнуться (Л. 111) строжайшему взысканию. Бывало, прежде чем отворить двери этого запретного для нас здания, несколько раз осмотришься кругом: нет ли откуда опасности. Войдя в библиотеку, не подходишь прямо к конторке заведующей, а осторожно смотришь в читальный зал: не сидит ли там

какой-либо опасный человек. Во втором уже классе было решено составить собственную библиотеку запрещенных в семинарии книг. Установлены были ежемесячные взносы на выписку книг и журналов, и первым выписанным на общественный счет изданием была та же «Неделя». Средства росли, разрасталась и библиотека. К «Неделе» прибавилась «Русская мысль», «Вестник Европы», появились почти все более ценные издания Павленкова, рассказы начинающего еще тогда Чехова, произведения Короленко, Мамина-Сибиряка, Достоевского. В городе по случаю приобретено было несколько №№ «Современника» и «Русского дела» со статьями Чернышевского и Писарева, сочинения которых в наших глазах были окружены каким-то мистическим ореолом. Помню, напр[имер], за две книжки «Современника», в которых было напечатано знаменитое «Что (Л. 112) делать?» (и то без начала), из общественных сумм было заплачено что-то сравнительно весьма дорого. Появилось собрание сочинений Добролюбова, «История цивилизации в Англии» Бокля, сочинения Дрепера, Дарвина, Шопенгауэра, Ницше. Наконец, были приобретены девять томов Н. К. Михайловского, к трудам которого относились мы с особенным почтением. Понимание его было нашей гордостью. Припоминается рассказ одного из уволенных «за чтение запрещенных книг» товарища, который в Крутогорске искал себе заработка и пристроился наконец в редакцию местной газетки. Он рассказывал нам, что редактор, желая, вероятно, убедиться в его развитии, спрашивал его о том, чем он интересуется, что читал, и «когда я упомянул меня^а о знакомстве с Михайловским, его отношения ко мне заметно изменились». Этот рассказ произвел свое действие на слушателей. Многие из тех, кто не читал еще Михайловского, принялись с увлечением за изучение трудов этого выдающегося мыслителя нашего безвременья. Имелись у нас и более известные переводные романы Золя, Шпильгагена и др[угих]. Со временем стали появляться научные сочинения и популярные брошюры по естествен (Л. 113) ным и экономическим вопросам. Существовала у нас и «подпольная» литература. Были заграничные издания Л. Н. Толстого, напр[имер] «Послесловие к Крейцеровой сонате», «Исповедь» и др[угие]. Тщательно хранилось искреннее, полное силы и правды письмо Цебриковой к импер[атору] Александру III, раскрывавшее язвы русской общественно-государственной жизни.

Библиотека была нашим любимым детищем. Почти в детский восторг приходили мы, уже юноши, от каждого нового ценного пополнения ее. Почти все книжки были прочно и красиво переплетены. На корешках их сначала ставились инициалы «Т. Б.» (товарищеская библиотека). Но раз произошел такой случай. Одну библиотечную книжку нашел у ученика помощник инспектора и, конечно, пристал с расспросами, откуда она появилась. И товарищу для объяснения инициалов пришлось выдумывать какого-то Бориса Томилина. Ладно, что помощник этим удовлетворился. Чтобы в будущем не происходило подобных недоразумений, инициалы везде были счищены, и новые переплеты были без них. Библиотека наконец получила правильную

^а Так в рукописи.

орга (Л. 114) низацию. Был написан устав. Члены ее разделялись на членов-учредителей, в число которых входили лишь учившиеся в нашем классе, положившие много труда для создания библиотеки. Для усиления средств ее, напр[имер], заведена была общественная торговля табаком, приносившая 100% дохода, который полностью поступал на библиотечные нужды. Расходы на торговлю были сокращены до минимума. Члены библиотеки сами даже набивали папиросы для лавочки, а их требовалось более тысячи ежедневно. Лица же из других классов, примкнувшие к нашему кружку и внесшие на усиление библиотеки более или менее значительную сумму, носили звание членов. Таких было немного, большинство были подписчиками с 20-копеечной платой в месяц. Книги выдавались на срок, и просрочка считалась делом нравственно преступным, так как желающих читать всегда было много. Выписка новых книг и журналов производилась общим собранием членов. При пополнении библиотеки преимущественно руководились каталогом книг для самообразования, составленным какой-то комиссией. Этот каталог был запрещеннейшей (Л. 115) книгой в семинарии, так как он открывал семинаристам, по крайней мере по названиям, всю «запретную» литературу. В печати подобных каталогов тогда не было, и он переписывался и хранился у нас, как святыня. В нем, конечно, абсолютно не было чего-либо преступного. Подобные ему списки книг ныне пользуются всеобщей известностью. Постановлением общего собрания членов-учредителей вся наша библиотека, достигавшая, кажется, томов 300, по окончании нами курса должна была перейти в собственность ученической организации самообразования, которая, конечно, должна была пережить наш курс, но обстоятельства сложились так, что этому благородному решению не суждено было осуществиться сполна.

Годы зарождения и первоначального развития нашей библиотеки совпали с временем инспекторства монаха и были весьма благоприятны для ее существования. Сыск и репрессии несколько ослабели, и это дало нам возможность поставить дело довольно широко. Но при следующих инспекторах дела резко изменились. И много тревожных дней пережили члены биб (Л. 116) лиотеки и во многих местах принуждены были спасать свое дорогое детище. Особенно страшны были нам «повальные обыски». Устраивать их любили некоторые инспектора. Этим именем назывались у нас такие явления, когда представители инспекции пересматривали решительно все вещи учеников известного класса. Обыски эти производились внезапно, но иногда все же откуда-то распространялся слух, что скоро будет обыск, подобно тому как распространяются темные слухи о готовящихся еврейских погромах. Тогда старались раздать все имеющиеся налицо в библиотеке книги подписчикам и членам и, таким образом, выражаясь военным термином, встречали врага «рассыпным строем», в котором, говорят, всегда бывает меньше потерь, чем тогда, когда встречаются врага «в колоннах». У нас «рассыпной строй» удавался почти всегда блестяще, так как изобретательность семинариста доходила здесь до изумительных размеров. Прибывали, напр[имер], внизу парты веревочную сетку и прятали тут книги. Начальство, внимательно «шарившее» в партах, не предполагало, по-видимому, никаких сооружений под нею. (Л. 117) А то

был еще проще и уже совершенно безопаснее способ — заталкивать книги под рубашку, так как «личность» была неприкосновенна. Иной раз требовалось лишь вывернуть карманы. Но это можно было сделать без всякого оказательства^а своего книжного шкафа.

Иногда обыски случались совершенно неожиданно и в таких случаях оканчивались почти всегда печально. Раз, мы были уже в богословском классе, в конце последнего урока в стеклянных дверях класса несколько раз показывалась фигура инспектора. Все почувствовали недоброе. Оно и случилось. Лишь кончился урок, в класс входит инспектор и его помощник. Вошедшие объявляют, что сейчас будет обыск, и просят остаться на своих местах. Помощник начинает обыскивать парты, а инспектор — книжные шкафы, стоявшие в классе. А второй его помощник находился в это время в гардеробной, где по очереди мы должны были отпирать свои ящики и показывать имущество, в котором помощник рылся без всякой церемонии, перетрясая наше белье, начиная с кальсон и ночных рубашек. Любопытство инспекции порой доходило до того, что прочитывались попадавшиеся под руку письма, особенно у «подозрительных», (Л. 118) по ее мнению, учеников. Парты были обысканы быстро, и мы толпой окружили инспектора около шкафов. Лица многих были бледны. Один шепчет, что у него лежит том Михайловского, другой говорит: «У меня Бокль», и проч[ее]. Как помочь беде? Шкафы заперты, а замки, как нарочно, со звоном. Кто-то подал мысль начать кашлять и громко разговаривать, чтобы звуками голосов заглушить звон от тщательно осматривающего все еще первый шкаф инспектора. Так и сделали. «Запретные» книги были вытащены, и многие избежали больших неприятностей. Но инспектор нашел все же поживу в первом шкафу. В ящике одного из деятельнейших по библиотечным делам товарища оказался том соч[инений] Добролюбова и какая-то брошюрка Вольтера на французском языке. Находка оказалась вполне достаточной для обвинения ученика в атеизме, деморализации своих товарищей, и в результате ему предложено было оставить семинарию. Это была невознаградимая потеря для товарищества. В лице его мы лишились самого талантливого члена своей сплоченной семьи, видного сотрудника всех бывших (Л. 119) журналов, человека, стоявшего во главе нашего умственного развития. В первые ученики он не лез, хотя имел для этого все данные: письменные работы его всегда были блестящи. Перо его приходило на помощь и ленивым коллегам, имевшим возможность оплачивать его труд. Слог его был настолько выработан, что даже лучшие из преподавателей не могли подметить, что одному и тому же автору принадлежат пять, а иногда и более сочинений на одну и ту же тему. Писал он сочинения и в другие классы и в этом отношении был известен всей семинарии.

За чтение книг гнали из семинарии беспощадно. Изгнанию подвергались и только поступивший новичок, и богослов за несколько месяцев до окончания курса. Так коверкали жизнь стремящихся к свету юношей, вся вина которых

^а Так в рукописи.

была в том, что они хотели знать больше того, что давало им учебное заведение, в которое они поступили не добровольно и сознательно, а потому, что свезли их сюда по традиции родители. В этом был трагизм положения многих из нас, душою своею далеко стоявших и от мерт (Л. 120) вящей науки, и обстановки окружавшей нас официальной жизни. Порвать с семинарией у немногих хватало решимости. Но были, однако, и такие, которые добровольно покидали семинарию, чтоб перейти в какое-либо светское учебное заведение, или же принимались за нелегкую для семинара задачу — готовиться к пресловутому экзамену зрелости, который открывал нам двери высшей науки.

Но вернемся к трудным дням жизни нашей библиотеки. Они начались после описанного обыска. Этот обыск убедил инспектора в существовании в нашем классе «вредных» книг, и он решил во что бы то ни стало разыскать «преступные книги». Об этом он давал иногда ясные намеки в своих речах, и мы приняли оборонительное положение. Библиотека была уже велика. Раздать ее по рукам — значит рисковать подвергнуть опасности «изгнания» многих, и поэтому было решено более ценные и «опасные» книги совершенно скрыть из стен семинарии на острый момент инспекторского сыска. Куплены были два больших старых мешка; в них и сложили свое (Л. 121) сокровище. Возник вопрос, как их отправить в город. Дело это было нелегкое, так как по распоряжению инспектора привратники зорко следили за тем, что вывозится из семинарии учениками. И вот до удобного случая решили одну часть книг спрятать на потолке ротонды, стоявшей в самом отдаленном уголке семинарского сада, а для другой темной ночью выкопана была глубокая яма в сугробе снега.

Затем на помощь нашей беде пришел семинарский фельдшер, о котором, также как и о больнице, следует сказать несколько слов. Больница помещалась в отдельном одноэтажном здании. Ежедневно приезжал для осмотра больных наблюдавший за ней врач. В больничных «палатах» помещались все, кроме острозаразных. Для постоянной помощи больным тут жил фельдшер. Ввиду ничтожности жалованья эту должность чаще всего занимали так называемые «ротные» фельдшера из запасных солдат. Это были, конечно, не первостатейные лекаря, но между ними часто попадались «милые» люди, близко принимавшие интересы семинаристов. Благодаря содействию их иной раз в больнице дней пять и более укрывались от уроков (Л. 122) страдающие весьма распространенной в семинарии болезнью — *rigriti'ej*, по-русски ленью. В данном случае полагалась лишь в пользу фельдшера небольшая «контрибуция» в виде, напр[имер], бутылки очищенной, которая, конечно, распивалась сообща. С фельдшером семинарист был готов делить свою последнюю папиросу. Самое обращение к фельдшерам свидетельствовало об отношениях к ним учащихся. Их называли не иначе, как по отчеству: «Савельич», «Федотыч» и т. п.

Так вот, один из этих милых людей и сослужил нам службу верную. Это был солдат, способный, как говорят, от скуки на все руки. Вероятно, большую часть своей «солдатчины» он провел в денщиках у какой-нибудь хозяйственной полковой дамы, так как мог стряпать, шить, сапожничать, красить, штукатурить, словом, был большой «пройдоха». Узнал он о нашей беде

и говорит: «Что ж вы приуныли? Тащите ночью мешки ко мне, а к утру я закажу извозчика и выведу с вами из семинарии. Ведь инспектор меня не остановит, а если остановит, так я скажу ему, что старую посуду в аптеку воз (Л. 123) вращаю». Так неожиданно счастливо [разрешился] тревоживший нас вопрос. Книги отправлены были в город и при нас уже не возвращались в семинарию полностью. В городе им дали приют стоявшие на общей квартире уволенные и уволившиеся товарищи, пострадавшие в большинстве из-за этих же книг. Эта тесная, убогая квартирка с этих пор сделалась для нас библиотекой, читальным залом, местом, где мы, не боясь «недреманного ока» наших аргусов, обменивались мыслями, горячо спорили, мечтали о будущем словом, проводили здесь лучшие минуты нашей приближавшейся уже к концу семинарской жизни.

В последние годы нашего пребывания в семинарии кроме идейных интересов с силой врываются к нам и интересы практические. И это вполне естественно. Семинария ведь стремилась дать законченное образование и выпускала своих питомцев не [в] высшие школы, а прямо в жизнь: большинство шло в священники и учителя. Люди, помышлявшие о священстве, естественно, думали и о связанной с ним женитьбе. У некоторых где-нибудь (Л. 124) вблизи своих сел намечены были уже невесты, другие интересовались кончающимися епархиалками, третьи начинали лишь присматриваться к прекрасному полу. Доступ в епархиальное училище для семинаристов был весьма труден. Посещали его, и то раз в две недели, лишь имеющие там родных сестер. Все двоюродные и троюродные, пытавшиеся проникнуть туда, не проходили далее училищного швейцара. Но все же дважды в год (в храмовой праздник и в день акта³⁵) удовлетворялось наше любопытство — взглянуть на епархиалок. В эти дни «богословы» наполняли церковь и зал училища, избирая здесь такие позиции, около которых обязательно должны были проходить ученицы. Длинные вереницы их в казенных платьях с белыми передниками и рукавами, в каких-то шуршащих туфлях бесшумно скользили около стены семинаров, бесцеремонно засматривающих в проходящих. Но рассмотреть кого-либо более или менее порядочно было невозможно: белые движущиеся фигуры как две капли воды были похожи одна на другую и лишь рябили в глазах.

Те из нас, у которых в епархиальном (Л. 125) были «симпатии», находили и другие случаи видаться с ними или по крайней мере взглянуть на них. Для этого они выходили в город к тому времени, когда епархиалки под бдительным надзором классных дам выходили в своих неуклюжих, долгополых «манто» и грибообразных шляпах на прогулку вокруг обширной городской площади. Эти невинные, мимолетные свидания носили у нас название «встречи образов»³⁶. Встречать «образа» иной раз набиралось немало, и они, как потом передавали, ухитрялись иногда интересующую их партию гуляющих встречать раза по четыре в течение какого-нибудь часа. Для этого, конечно, нужно было бегать по площади «высунувши язык».

Из жизни в шестом классе вспоминаются два довольно интересных факта. Один, относящийся к нашему жениховскому положению и весьма

характерный для духовного быта. Другой — необычайное посещение архиерейских именин. У «духовных» женихов, как известно, до сих пор не вывелся обычай ездить из села в село для выбора (Л. 126) подруги жизни. А бывает и так, что стареющие невесты или девицы, за которыми «зачислены» отцовские места, сами старательно ищут себе жениха. С тетушками и свахами являются они в губернский город, останавливаются где-нибудь на постоялом дворе или в дешевых номерах и при помощи городских мастериц этого дела зазывают семинаристов, и устраиваются³ смотрины, оканчивающиеся часто браком. То же случилось и у нас. Раз вечером приходит в класс эконом и с улыбкой говорит: «Несколько минут внимания, господа». Мы столпились вокруг его, и он таинственно начал: «Интересную вещь я хочу вам рассказать, господа». «Рассказывайте! рассказывайте!» — послышалось со всех сторон. «Приходила сегодня ко мне какая-то полная женщина, отрекомендовавшаяся священнической вдовой, и говорит: “Я к вам с весьма деликатной просьбой. У меня есть сирота-племянница, кончившая³⁷. Пока я жива, мне хо (Л. 127) чется девицу пристроить, а подходящего жениха поблизости от нас нет. Хотелось бы за приличную партию, за богослова. Девица у меня скромная, молодая — двадцати лет (соврала!), и приданое имеет приличное: пять тысяч деньгами налицо и все прочее, как следует: дюжина серебряных столовых ложек, дюжина чайных, ротонда на лисьем меху. Мех хороший: зверь зимнего боя, никогда не выливает; всего, всего много! Не поможете ли как-нибудь нам, о[тец] диакон, ваши хлопоты не забыли бы. Вам ведь все богословы знакомы — передайте им, чтобы пожаловали завтра познакомиться с нами в номера Хохрякова”. Рассчитывая на подарок с кого-нибудь из вас, — шутливо продолжает диакон, — я ей обещал и миссию свою выполнил в точности. Теперь дело за вами. Воспользуйтесь случаем, г[оспода] богословы! Не пропускайте пятитысячной невесты с лисьей шубой». Рассказ произвел, конечно, общий хохот и долго несмолкаемые разговоры на эту тему. На утро «для баловства» пошли в номера трое. Красотка оказалась слишком перерзрелой: в импровизированный брак (Л. 128) вступать никто не пожелал. Женихи возвратились со смотрин с изрядной «мухой», тем дело и кончилось. Вышла ли замуж эта невеста, а быть может и еще ждет судьбу: благо у нее есть и деньги, есть и лисья шуба зимнего боя.

А посещение архиерейских именин произошло при следующих обстоятельствах. Незадолго пред нашим окончанием в Крутогорск был назначен архиерей, прямая противоположность тому, который некогда распекал нас за стеклобитие. Он был одинаково доступен и для городского протоиерея, и скромного сельского дьячка: для всех у него находилось слово приветия. В голове его всегда роилась масса иной раз утопичных проектов, и некоторые из них благодаря живости своего характера он немедля осуществлял. Память о них до сих пор жива в Крутогорске. На семинаристов он обратил особенное внимание, стараясь своей близостью привлечь их к священному сану. Шестиклассники должны были группами по очереди присутствовать во время его

³ Исправлено, в рукописи: усматриваются.

богослужения, а после обедни заходить в архиерейский дом, где им предлагался чай и завтрак. В комнату для чаепития (Л. 129) тия нередко являлся сам архиерей и, как простой смертный, разговаривал с нами, шутил. Словом, держал себя совершенно иначе, чем большинство духовных владык.

Но того, что произошло в день его именин, мы совсем не ожидали. Накануне этого дня на левом клиросе крестовой церкви³⁸ пел хор человек из двадцати шестиклассников. После всенощной певчие через ректора были приглашены в архиерейские покои, куда собралось все именитое городское духовенство. Был сервирован чай. Увидев нас, архиерей пригласил следовать за собой и усадил около стола, за которым сидело уже несколько епархиалок, пришедших в качестве делегации от училища поздравлять архиерея. «Вот сестрицы напоят вас здесь чаем»,— благодушно сказал архиерей, уходя к столу, где разместились почетные гости. Изумленные необычайной обстановкой и не стесняемые никем, мы выпили предложенный нам «сестрицами» чай и перешли в гостиную, в которой на столах и креслах лежали именинные подарки популярному архиерею от разных лиц и учреждений. Туда же скоро явил (Л. 130) ся и Преосвященный с духовенством и, обращаясь к келейнику, сказал: «Ну-ка, Филипп, тащи что-нибудь нам именинника поздравить, да не сногшибательного, чтобы и “студенты” могли выпить».

Через несколько минут на столе появляется поднос с массой рюмок и двумя бутылками. Почетные гости чокаются с архиереем, поздравляют его с днем ангела, а мы (студенты) толпимся в углу и думаем о выходе. Вдруг архиерей подходит к нам и приглашает последовать примеру «отцов». На лицах у всех недоумение, взоры многих невольно устремляются на вблизи стоящего ректора. Ректор молчит, и мы нерешительно подходим, наливаем по рюмке какого-то кисло-сладкого вина, поздравляем архиерея и осушиваем их. Проходит еще несколько минут. Епископ предлагает протоиереям «повторить», те отказываются, отсылаясь завтрашней службой. «Ну а вам, студенты, завтра не служить — пожалуйста еще по рюмочке!» — обращается он к нам. Мы пришли в полное недоумение, как поступить: и выпить не прочь, да и отказ протоиереев смущает. В дело неожиданно вмешивается ректор. (Л. 131) «Ваше Преосвященство, они ведь уж, видите ли, да, по одной выпили». — «Да ведь это самое дамское, от[ец] ректор,— не опьянеют». Ректор в смущении бормочет: «Ну, я здесь, видите ли, да, не хозяин... не хозяин, видите ли, да». Архиерей снова приглашает, мы благодарим. Но вот один отделяется от толпы и решительно направляется к выпивке. Остальные стоят... Рука смельчака протягивается уже к бутылке, как он оглянулся назад: со стороны товарищей измена! За ним никого нет. «Готов был я провалиться на месте, как вы меня, черти полосатые, подвели»,— ругал он потом нас. Но тут все стали прощаться с именинником, и поступок коллеги стушевался. Долго вспоминали мы эти необычайные архиерейские именины и смеялись над пожелавшим «повторить» товарищем.

В общем же, последний год пребывания в семинарии прошел бледнее других. Немало было причин для этого, а самая главная из них — это исчезновение к выпускному классу почти 80% нашего товарищества. В этом

количестве было, конечно, много бурсаков, (Л. 132) ничего, кроме грубости, не дававших классу, но еще больше исчезло людей талантливых, живых, не удовлетворявшихся окружающей обстановкой. За это они были выброшены за борт, у многих была загублена жизнь: мечтавшие об университете и достойные его попали в диакона, без призвания взяли за священство, некоторые спились, а другие сошли с ума. А будь иной режим, откажись школа от ложной задачи — воспитать людей чуть ли не с младенческого возраста для пастырства, не считаясь с их субъективным настроением, не заглядывая в глубину души ребенка и юноши, а лишь до жестокости строго проводя свою систему, мертвящую все святые юношеские порывы, результаты были бы другие. Эта прямолинейная до грубости система, ставившая своей целью привить скромность, покорность, почтительность, религиозность и т. п. качества, у многих вытравляла все живое, благородное, с чем юношей отправляла в школу семья.

Было бы вопиющей неправдой утверждать, что до конца эта система доводила самых лучших, самых достойных по ее требованиям. Далеко нет. (Л. 133) Одну часть прошедших тернистый путь «чистилища», называемого духовной семинарией, можно назвать самыми «приспособленными» к бездушному семинарскому режиму. Это были трудящиеся люди с небольшими умственными способностями, мало интересовавшиеся тем, чего нельзя было видеть и знать в семинарии. Другую — «счастливыми», которым благоприятствовала судьба, спасавшая их от бдительной инспекции в опасные минуты их жизни. Они и выпивали, и даже напивались, но не попадались и считались людьми примерной трезвости, они и начальству не прочь были «насолить», но оно об этом не догадывалось и готово было ставить их в пример, они обильно впитывали [в] себя и «запретную» литературу, но в руках и партах их никогда «вредных» книг инспекция не замечала, и они назывались «благонамеренными».

Крутогорец.
Конец.

Для редакции. Г. Уфа. Духовная семинария. Преподавателю Ивану Андреевичу Ардашеву.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Имеется в виду духовное уездное училище.
- ² Инспектор и его помощники должны были наблюдать за воспитательным процессом в семинарии; до реформ Александра II инспекторами назначались только монахи, затем эта должность, как и ректорская, стала доступной представителям белого духовенства.
- ³ «Философским классом» именовалось после реформы 1808–1814 гг. среднее отделение семинарии, «богословским классом» — высшее отделение. Во времена, описываемые «Крутогорцем», деление на отделения было отменено, но традиционное именование семинаристов различных классов, как видим, сохранилось.

- ⁴ На казенное содержание принимались прежде всего сироты. Затем, если у семинарии оставались средства, назначались половинные казенные оклады ученикам из бедных семей. Поскольку реальные семейные доходы могли складываться не только из церковного жалованья, казенные и полуказенные оклады не всегда доставались действительно нуждающимся. В то же время пристроить сына на казенное содержание всегда считалось большой удачей для семьи, чем и объясняется появление описываемого обычая «пропивать казенников».
- ⁵ День памяти св. Иоанна Богослова.
- ⁶ По старому стилю 8 мая.
- ⁷ Далее следует рассказ о том, как товарищи прятали пьяного семинариста от начальства.
- ⁸ «Кутейниками» именовали детей клириков. Кутья — поминальное блюдо, которое приносили в церковь в день похорон.
- ⁹ Ученицы епархиальных женских училищ. Большинство из них принадлежали к семьям духовенства, так что семинаристы видели в «епархиалках» прежде всего потенциальных невест (по традиции девушки из духовного сословия выходили замуж за сыновей клириков). Иногда за такой невестой давали в приданое приход ее отца. Пытавшееся разрушить сословные границы правительство Александра II запретило подобную передачу приходов, но в воспоминаниях «Крутогорца» встречается рассказ о «смотринах» в семинарии, которые были весьма обычны в дореформенные времена.
- ¹⁰ Далее следует рассказ о том, как нетрезвые семинаристы были возвращены обратно в семинарию.
- ¹¹ Ссылка на правила Пято-Шестого Вселенского Собора (691–692 гг.)
- ¹² Дмитрий Александрович Агренов (псевдоним — Славянский; 7 декабря 1834 г.— 10 июля 1908 г.), русский певец, хоровой дирижер, собиратель народных песен. С 1869 г. концертировал с собственной капеллой в России и за рубежом, пропагандируя русские и славянские народные песни.
- ¹³ Имеются в виду учебники «классических», т. е. латинского и греческого, языков.
- ¹⁴ Имеются в виду 2-классные церковноприходские школы, готовившие своих учеников для преподавания в обычных, 1-классных церковноприходских школах.
- ¹⁵ Цитата из «Духовного регламента» Феофана Прокоповича: речь шла о возможности исключения из духовной академии «детин непобедимой злобы» (*Смирнов В. Феофан Прокопович. М., 1994. С. 168*).
- ¹⁶ В период говения принято ежедневно посещать богослужения, затем исповедаться и причаститься. В период многодневных постов принято говеть на первой либо последней неделе.
- ¹⁷ По традиции овдовевшим священнослужителям предлагалось принять постриг. Прежде строгое, в синодальный период это правило выполнялось редко, как правило, когда речь шла о занятии какой-либо административной должности. Характерно, что в глазах «Крутогорца» белец, принявший постриг по вдовству, — монах «наполовину», так как согласился на пострижение не по убеждению, а из карьерных соображений.
- ¹⁸ Приход нового поколения ректоров-монахов, к тому же только что окончивших духовную академию, связывают с именем Антония (Храповицкого), будущего главы Русской Православной Церкви за границей, считавшего, что таким образом можно поднять нравственный уровень духовной школы.
- ¹⁹ Миряне — преподаватели духовной школы — получали чины по Табели о рангах, но претендовать на высокий административный пост они практически не могли даже после реформ 1860–1870-х гг., поэтому для занятия ректорской должности статский советник был вынужден принять священнический сан.
- ²⁰ Чтение шло на церковнославянском языке.
- ²¹ Битье стекол было традиционным способом мести, особо распространенным в закрытых учебных заведениях, где преподаватели жили по соседству с учениками.

- ²² День памяти святого, которому был посвящен храм.
- ²³ Имеется в виду персонаж рассказа А. П. Чехова «Человек в футляре».
- ²⁴ Общими усилиями (*лат.*).
- ²⁵ Литургия — наука о богослужении, гомилетика — наука об искусстве проповеди.
- ²⁶ Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский († 1882 г.), известный церковный историк и богослов. Здесь, вероятнее всего, имеется в виду его труд «Руководство к изучению христианского православно-догматического богословия» (СПб., 1869).
- ²⁷ Алексей Иванович Покровский, инспектор народных училищ Бузулукского уезда Самарской губернии. Здесь, вероятнее всего, имеется в виду его книга «Православно-христианское нравственное богословие» (Самара, 1891).
- ²⁸ Очевидная описка; следовало написать «одиннадцатого часа». Имеется в виду евангельская притча о рабочих, которых хозяин виноградника нанимает для сбора урожая в течение дня. Последние работники были наняты «около одиннадцатого часа», но получили ту же плату, что и работавшие весь день (Мф 20. 1–16). В данном случае подразумевается, что преподавателю легко давалось то, что другим — с трудом, но он был равнодушен к тому, чем занимался.
- ²⁹ Александр Павлович Лопухин († 1904 г.), богослов. Имеется в виду одна из его книг: «Руководство к Библейской истории Ветхого Завета». СПб., 1888–1989; «Библейская история Ветхого Завета». СПб. 1887; «Библейская история при свете новейших исследований и открытий: Ветхий Завет». СПб., 1889–1890.
- ³⁰ «Отец ректор, дайте нам выходной» (*лат.*).
- ³¹ На суше и на море (*лат.*).
- ³² Супруги, и в старости сохранившие любовь и преданность друг к другу.
- ³³ Студенты духовной академии, учившиеся на казенный счет, должны были отрабатывать в школах Духовного ведомства по полтора года за каждый год своей учебы.
- ³⁴ Церковноприходская школа при семинарии, в которой семинаристы выступали в роли преподавателей. Преподавание в церковноприходской школе Закона Божия входило в круг обязанностей настоятеля приходского храма, зачастую другие предметы преподавались клириками и выпускниками семинарии, еще не получившими штатного места.
- ³⁵ В день окончания учебного года.
- ³⁶ «Встречать образа», т. е. иконы, выходили на улицу во время крестных ходов, а также специальных обходов духовенством домов своих прихожан во время церковных праздников.
- ³⁷ Окончившая женское епархиальное училище.
- ³⁸ Церковь архиерейского дома.